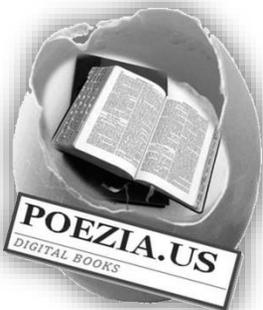


АЛЕКСАНДР КУШНЕР

**ТО ЧТО МЫ ДОЛЖНЫ
ВЕРНУТЬ**

Первая книга





СЕРИЯ: 135 СТИХОТВОРЕНИЙ

АЛЕКСАНДР КУШНЕР

ТО ЧТО МЫ ДОЛЖНЫ
ВЕРНУТЬ

135 стихотворений

Век двадцатый



POEZIA.US

CHICAGO

2024

Кушнер, Александр. То, что мы должны вернуть

Это книга известного поэта интересна тем, что автор предоставил на суд читателя 135 избранных своих стихотворений, написанных в двадцатом веке. Другими словами, это только первый том. Готовится к выходу том второй, где будут представлены 135 стихотворений написанных поэтом в XXI веке.

Почему сто тридцать пять? Это загадочное и в чем-то мистическое число выбрано благодаря его свойствам: сумма чисел этого числа, помноженная на их произведение, дает в итоге само число. Такого рода числа называются в математике числами Харшада. А еще $135 = 1^1 + 3^2 + 5^3$. Удивительно, не правда ли?

PRINTED IN THE UNITED STATES OF AMERICA

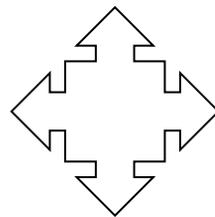
RUSSIAN EDITION

What We Have to Get Back

(A book of poetry in Russian) Authored by Alexander Kushner
7.25" x 9.5" (19.05 x 23.5 cm) Black & White on White paper
170 pages

©Copyright 2024 by POEZIA.US, Chicago, USA
All rights reserved.
Poems ©2024 by Alexander Kushner

ISBN: 978-1-7348742-8-0



ШЕСТИДЕСЯТЫЕ

«ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ» 1962

Когда я очень затоскую,
Достану книжку записную,
И вот ни крикнуть, ни вздохнуть —
Я позвоню кому-нибудь.
О голоса моих знакомых!
Спасибо вам, спасибо вам
За то, что вы бывали дома
По непробудным вечерам,
За то, что в трудном переплете
Любви и горя своего
Вы забывали, как живете,
Вы говорили: «Ничего».
И за обычными словами
Была такая доброта,
Как будто Бог стоял за вами
И вам подсказывал тогда.

ДВА МАЛЬЧИКА

А. Битову

Два мальчика, два тихих обормотика,
ни свитера,
ни плащика,
ни зонтика,
под дождичком
 на досточке
 качаются,
а песенки у них уже кончаются,
Что завтра? Понедельник или пятница?
Им кажется, что долго детство тянется.
Поднимется один,
 другой опустится.
К плечу прибилась бабочка
капустница.
Качаются весь день с утра и до ночи.
Ни горя,
ни любви,
ни мелкой сволочи.
Всё в будущем,
 за морем одуванчиков.
Мне кажется, что я — один из мальчиков.

РИСУНОК

Ни царств, ушедших в сумрак,
Ни одного царя —
Ассирия! — рисунок
Один запомнил я.

Там злые ассирийцы
При копьях и щитах
Плывут вдоль всей страницы
На бычьих пузырях.

Так чудно плыть без лодки!
И брызги не видны,
И плоские бородки
Касаются волны.

Так весело со всеми
Качаться на волне.
«Эй, воин в остром шлеме,
Не страшно на войне?

Эй, воин в остром шлеме,
Останешься на дне!»
Но воин в остром шлеме
Не отвечает мне.

Совсем о них забуду.
Бог весть в каком году
Я в хламе рыться буду —
Учебник тот найду

В картонном переплете.
И плеск услышу в нем.
«Вы всё еще плывете?» —
«Мы всё еще плывем!»

Там, где на дне лежит улитка,
Как оркестровая труба,
Где пескари шныряют прытко
И ждет их страшная судьба

В лице неумолимой щуки, —
Там нимфы нежные живут
И к нам протягивают руки,
И слабым голосом зовут.

У них особые подвиды.
В ручьях красуются наяды,
Среди густых деревьев — дриады,
И в море синем — nereиды.

Их путать так же неприлично,
Как, скажем, лютик водяной,
И африканский, необычный,
И ядовитый луговой.

Отнюдь не праздное всезнайство!
Поэт, усилий не жалея,
Не запускай свое хозяйство
И будь подробен, как Линней.

ГРАФИН

Вода в графине — чудо из чудес,
Прозрачный шар, задержанный в паденье!
Откуда он? Как очутился здесь?
На столике, в огромном учрежденье?
Какие предрассветные сады
Забыли мы и помним до сих пор мы?
И счастлив я способностью воды
Покорно повторять чужие формы.
А сам графин плывет из пустоты,
Как призрак льдин, растаявших однажды,
Как воплощенье горестной мечты
Несчастных тех, что умерли от жажды.
Что делать мне?

Отпить один глоток,
Подняв стакан? И чувствовать при этом,
Как подступает к сердцу холодок
Невыносимой жалости к предметам?
Когда сотрудница заговорит со мной,
Вздохну, но это не ее заслуга.
Разделены невидимой стеной,
Вода и воздух смотрят друг на друга.

ВАЗА

На античной вазе выступает
Человечков дивный хоровод.
Непонятно, кто кому внимает,
Непонятно, кто за кем идет.

Глубока старинная насечка,
Каждый пляшет и чему-то рад.
Среди них найду я человечка
С головой, повернутой назад.

Он высоко ноги поднимает,
Он вперед стремительно летит,
Но как будто что-то вспоминает
И назад, как в прошлое, глядит.

Что он видит? Горе неуместно.
То ли машет милая рукой,
То ли друг взывает — неизвестно!
Потому и грустный он такой.

Старый мастер, резчик по металлу,
Жизнь мою в рисунок разверни, —
Я пойду кружиться до отвалу
И плясать не хуже, чем они.

И в чужие вслушиваться речи,
И под бубен прыгать невпопад,
Как печальный этот человечек
С головой, повернутой назад.

«НОЧНОЙ ДОЗОР» 1966

Декабрьским утром черно-синим
Тепло домашнее покинем
И выйдем молча на мороз.
Киоск фанерный льдом зарос,
Уходит в небо пар отвесный,
Деревья бьет сырая дрожь,
И ты не дремлешь, друг прелестный,
А щеки варежкой трешь.

Шел ночью снег. Скребут скребками.
Бегут кто тише, кто быстрее.
В слезах, под теплыми платками,
Пронесут сонных малышей.
Как не похожи на прогулки
Такие выходы к реке!
Мы дрогнем в темном переулке
На ленинградском сквозняке.

И я усилием привычным
Вернуть стараюсь красоту
Домам, и скверам безразличным,
И пешеходу на мосту.
И пропускаю свой автобус,
И замерзаю, весь в снегу,
Но жить, покуда этот фокус
Мне не удался, не могу.

О здание Главного штаба!
Ты желтой бумаги рулон,
Размотанный слева направо
И вогнутый, как небосклон.

О море чертежного глянца!
О неба холодная высь!
О, вырвись из рук итальянца
И в трубочку снова свернись.

Под плащ его серый, под мышку.
Чтоб рвался и терся о шов,
Чтоб шел итальянец вприпрыжку
В тени петербургских садов.

Под ветром, на холоде диком,
Едва поглядев ему вслед,
Смекну: между веком и мигом
Особенной разницы нет.

И больше, чем стройные зданья,
В чертах люблю городских
Веселое это сознание
Таинственной зыбкости их.

СТАРИК

Кто тише старика,
Попавшего в больницу,
В окно издалека
Глядящего на птицу?

Кусты ему видны,
Прижатые к киоску.
Висят на нем штаны
Больничные, в полоску.

Бухгалтером он был
Иль стекла мазал мелом?
Уж он и сам забыл,
Каким был занят делом.

Сражался в домино
Иль мастерил динамик?
Теперь ему одно
Окно, как в детстве пряник.

И дальний клен ему
Весь виден, до прожилок,
Быть может, потому,
Что дышит смерть в затылок.

Вдруг подведут черту
Под ним, как пишут смету,
И он уже — по ту,
А дерево — по эту.

ГОФМАН

Одну минуточку, я что хотел спросить:
Легко ли Гофману три имени носить?
О, горевать и уставать за трех людей
Тому, кто Эрнст, и Теодор, и Амадей.
Эрнст — только винтик, канцелярии юрист,
Он за листом в суде марает новый лист,
Не рисовать, не сочинять ему, не петь —
В бюрократической машине той скрипеть.

Скрипеть, потеть, смягчать кому-то приговор.
Куда удачливее Эрнста Теодор.
Придя домой, преодолевая боль в плече,
Он пишет повести ночами при свече.
Он пишет повести, а сердцу все грустней.
Тогда приходит к Теодору Амадей,
Гость удивительный и самый дорогой.
Он, словно Моцарт, машет в воздухе рукой.

На Фридрихштрассе Гофман кофе пьет и ест.
«На Фридрихштрассе», — говорит тихонько Эрнст.
«Ах нет, направо!» — умоляет Теодор.
«Идем налево, — оба слышат, — и во двор».
Играет флейта еле-еле во дворе,
Как будто школьник водит пальцем в букваре,
«Но все равно она, — вздыхает Амадей, —
Судебных записей милей и повестей».

Удивляясь галопу
Кочевых табунов,
Хоронили Европу,
К ней любовь поборов.

Сколько раз хоронили,
Славя конскую стать,
Шею лошади в мыле.
И хоронят опять.

Но полощутся флаги
На судах в тесноте,
И дрожит Копенгаген,
Отражаясь в воде,

И блестят в Амстердаме
Цеховые дома,
Словно живопись в раме
Или вечность сама.

Хорошо, на педали
Потихоньку нажав,
В городок на канале
Въехать, к сердцу прижав

Не сплошной, философский,
Но обычный закат,
Бледно—желтый, чуть жесткий,
Золотящий фасад.

Впрочем, нам и не надо
Уезжать никуда,
Вон у Летнего сада
Розовеет вода,

И у каменных лестниц,
Над петровской Невой,
Ты глядишь, европеец,
На закат золотой.

Танцует тот, кто не танцует,
Ножом по рюмочке стучит.
Гарцует тот, кто не гарцует,
С трибуны машет и кричит.

А кто танцует в самом деле
И кто гарцует на коне,
Тем эти пляски надоели,
А эти лошади — вдвойне!

Но и в самом легком дне,
Самом тихом, незаметном,
Смерть, как зернышко на дне,
Светит блеском разноцветным.
В рощу, в поле, в свежий сад,
Злей хвоща и молочая,
Проникает острый яд,
Сердце тайно обжигая.

Словно кто-то за кустом,
За сараем, за буфетом
Держит перстень над вином
С монограммой и секретом.
Как черна его спина!
Как блестит на перстне солнце!
Но без этого зерна
Вкус не тот, вино не пьется.

«ПРИМЕТЫ» 1969

То, что мы зовем душой,
Что, как облако, воздушно
И блестит во тьме ночной
Своенравно, непослушно
Или вдруг, как самолет,
Тоньше колющей булавки,
Корректирует с высот
Нашу жизнь, внося поправки;
То, что с птицей наравне
В синем воздухе мелькает,
Не сгорает на огне,
Под дождем не размокает,
Без чего нельзя вздохнуть,
Ни глупца простить в обиде;
То, что мы должны вернуть,
Умирая, в лучшем виде, —
Это, верно, то и есть,
Для чего не жаль стараться,
Что и делает нам честь,
Если честно разобраться.
В самом деле хороша,
Бесконечно старомодна,
Тучка, ласточка, душа!
Я привязан, ты — свободна.

Свежеет к вечеру Нева.
Под ярким светом
Рябит и тянется листва
За нею следом.

Посмотришь: рядом два коня
На свет, к заливу
Бегут, дистанцию храня,
Вздымая гриву.

Пока крадешься мимо них
Путем чудесным,
Подходит к горлу новый стих
С дыханьем тесным.

И этот прыгающий шаг
Стиха живого
Тебя смущает, как пиджак
С плеча чужого.

Известный, в сущности, наряд.
Чужая мета:
У Пастернака вроде взят,
А им — у Фета.

Но что-то сердцу говорит,
Что всё — иначе.
Сам по себе твой тополь мчит
И волны скачут.

На всякий склад, что в жизни есть
С любой походкой —
Всех вариантов пять иль шесть
Строки короткой.

Кто виноват: листва ли, ветер?
Невы волненье?
Иль тот, укрытый, кто так щедр
На совпадения?

Нет, не одно, а два лица,
Два смысла, два крыла у мира.
И не один, а два отца
Взывают к мести у Шекспира.

В Лаэрте Гамлет видит боль,
Как в перевернутом бинокле.
А если этот мальчик — моль,
Зачем глаза его намокли?

И те же складочки у рта,
И так же вещи дома жгутся.
Вокруг такая теснота,
Что невозможно повернуться.

Ты так касаешься плеча,
Что поворот вполоборота,
Как поворот в замке ключа,
Приводит в действие кого-то.

Отходит кто-то второпях,
Поспешно кто-то руку прячет,
И, оглянувшись, весь в слезах,
Ты видишь: рядом кто-то плачет.

РАЗГОВОР

Мне звонят, говорят: — Как живете
— Сын в детсаде. Жена на работе.
Вот сижу, завернувшись в халат.
Дум не думаю. Жду: позвонят.

А у вас что? Содом? Суматоха?
— И у нас, — отвечает, — неплохо.
Муж уехал. — Куда? — На восток.
Вот сижу, завернувшись в платок.

— Что-то нынче и вправду не топят.
Или топливо на зиму копят?
Ну и мрак среди белого дня!
Что-то нынче нашло на меня.

— И на нас, — отвечает, — находит.
То ли жизнь в самом деле проходит,
То ли что... Я б зашла... да потом
Будет плохо. — Спасибо на том.

Памяти Януша Корчака

Когда тот польский педагог,
В последний час не бросив сирот,
Шел в ад с детьми и новый Ирод
Торжествовать злодейство мог,
Где был любимый вами бог?
Или, как думает Бердяев,
Он самых слабых негодяев
Слабей, заоблачный дымок?

Так, тень среди других теней,
Чудак, великий неудачник.
Немецкий рыжий автоматчик
Его надежней и сильнее,
А избиением детей
Полны библейские преданья,
Никто особого вниманья
Не обращал на них, ей-ей.

Но философии урок
Тоски моей не заглушает,
И отвращенье мне внушает
Нездешний этот холодок.
Один возможен был бы бог,
Идущий в газовые печи
С детьми, под зло подставив плечи,
Как старый польский педагог.

ДВА ГОЛОСА

Озирая потемки,
расправляя рукой
с узелками тесемки
на подушке сырой,
рядом с лампочкой синей
не засну в полутьме
на дорожной перине,
на казенном клейме.

— Ты, дорожные знаки
подносящий к плечу,
я сегодня во мраке,
как твой ангел, лечу.
К моему изголовью
подступают кусты.
Помоги мне! С любовью
не справляюсь, как ты.

— Не проси облегченья
от любви, не проси.
Согласись на мученье
и губу прикуси.
Бодрствуй с полночью вместе,
не мечтай разлюбить.
Я тебе на разъезде
посвечу, так и быть.

— Ты, фонарь подносящий,
как огонь к сургучу,
я над речкой и чащей,
как твой ангел, лечу.
Синий свет худосочный,
отраженный в окне,
вроде жилки височной,
не погасшей во мне.

— Не проси облегченья
от любви его нет.
Поздней ночью — свеченье,
днем — сиянье и свет.
Что весной развлеченье,
тяжкий труд к декабрю.
Не проси облегченья
от любви, говорю.

Жить в городе другом — как бы не жить.
При жизни смерть дана, зовется — расстаянье.
Не торопи меня. Мне некуда спешить.
Летит вагон во тьму. О, смерти нарастанье!

Какое мне письмо докажет: ты жива?
Мне кажется, что ты во мраке таешь, таешь.
Беспомощен привет, бессмысленны слова.
Тебя в разлуке нет, при встрече — оживаешь.

Гремят в промозглой мгле бетонные мосты.
О ком я так томлюсь, в тоске ломая спички?
Теперь любой пустяк действительней, чем ты:
На столике стакан, на летчике петлички.

На свете, где и так всё держится едва,
На ниточке висит, цепляется, вот рухнет,
Кто сделал, чтобы ты жива и нежива
Была, как тот огонь: то вспыхнет, то потухнет?

ПАМЯТИ АННЫ АХМАТОВОЙ

1.

Волна темнее к ночи,
Уключина стучит.
Харон неразговорчив,
Но и она — молчит.
Обшивку руки гладят,
А взгляд, как в жизни, тверд.
Пред нею волны катят
Коцит и Ахеронт.

Давно такого груза
Не поднимал челнок.
Летает с криком Муза,
А ей и невдомек.
Опять она нарядна,
Спокойна, молода.
Легка и чуть прохладна
Последняя беда.

Другую бы дорогу,
В Компьен или Париж...
Но этой, слава богу,
Ее не удивишь.
Свиданьем предстоящим
Взволнована чуть-чуть.
Но дышит грудь не чаще,
Чем в Царском где-нибудь.

Как всякий дух бесплотный
Очерчена штрихом,
Свой путь бесповоротный
Сверяет со стихом.
Плывет она в тумане
Средь чудищ, мимо скал
Такой, как Модильяни
Ее нарисовал.

2.

Поскольку скульптор не снимал
С ее лица посмертной маски,
Лба крутизну, щеки провал
Ты должен сам предать огласке.

Такой на ней был грозный свет
И губы мертвые так сжаты,
Что понял я: прощенья нет!
Отмщенье всем, кто виноваты.

Ее лежание в гробу
На Страшный суд похоже было.
Как будто только что в трубу
Она за ангела трубила.

Неумолима и строга,
Среди заоблачного зала
На неподвижного врага
Одну бровью показала.

А здесь от свечек дым не дым,
Страх совершал над ней облёты.
Или нельзя смотреть живым
На сны загробные и счёты?

Вижу, вижу спозаранку
Устремленные в Неву
И Обводный, и Фонтанку,
И похожую на склянку
Речку Кронверку во рву.

И каналов без уздечки
Вижу утреннюю прыть,
Их названья на дощечке,
И смертельной Черной речки
Ускользящую нить.

Слышу, слышу вздох неловкий,
Плач по жизни прожитой,
Вижу Екатерингофки
Блики, отблески, подковки
Жирный отсвет нефтяной.

Вижу серого оттенка
Мойку, женщину и зонт,
Крюков, лезущий на стенку,
Пряжку, Карповку, Смоленку,
Стикс, Коцит и Ахеронт.

Четко вижу двенадцатый век.
Два-три моря да несколько рек.
Крикнешь здесь — там услышат твой голос.
Так что ласточки в клюве могли
Занести, обогнав корабли,
В Корнуэльс из Ирландии волос.

А сейчас что за век, что за тьма!
Где письмо? Не дожидаться письма.
Даром волны шумят, набегая.
Иль и впрямь европейский роман
Отменен, похоронен Тристан?
Или ласточек нет, дорогая?

СИРЕНЬ

Фиолетовой, белой, лиловой,
Ледяной, голубой, бестолковой
Перед взором предстанет сирень.
Летний полдень разбит на осколки,
Острых листьев блестят треуголки,
И, как облако, стелется тень.

Сколько свежести в ветви тяжелой,
Как стараются важные пчелы,
Допотопная блещет краса!
Но взглядишь в эти вспышки и блески:
Здесь уже побывал Кончаловский,
Трогал кисти и щурил глаза.

Тем сильнее у забора с канавкой
Восхищение наше, с поправкой
На тяжелый музейный букет,
Нависяющий в желтой плетенке
Над столом, и две грозди в сторонке,
И от локтя на скатерти след.

Еще чего, гитара!
Засученный рукав.
Любезная отравка.
Засунь ее за шкаф.

Пускай на ней играет
Григорьев по ночам,
Как это подобает
Разгульным москвичам.

А мы стиху сухому
Привержены с тобой.
И с честью по-другому
Справляемся с бедой.

Дымок от папиросы
Да ветреный канал,
Чтоб злые наши слезы
Никто не увидал.

На Мойке жил один старик.
Я представляю горы книг.
Он знал того, он знал другого.
Но всё равно, не потому
Приятель звал меня к нему
Меж делом, бегло, бестолково.

А потому, что, по словам
Приятеля, обоим нам
Была бы в радость встреча эта.
— Вы б столкнувались в тот же миг:
Одна печаль, один язык
И тень забытого поэта!

Я собирался много раз,
Но дождь, дела и поздний час,
Я мрачен, он нерасположен.
И вот я слышу: умер он.
Визит мой точно отменен.
И кто мне скажет, что отложен?

Зачем Ван Гог вихреобразный
Томит меня тоской неясной?
Как желт его автопортрет!
Перевязав больное ухо,
В зеленой куртке, как старуха,
Зачем глядит он мне вослед?

Зачем в кафе его полночном
Стоит лакей с лицом порочным?
Блестит бильярд без игроков?
Зачем тяжелый стул поставлен
Так, что навек покой отравлен,
Ждешь слез и стука башмаков?

Зачем он с ветром в крону дует?
Зачем он доктора рисует
С нелепой веточкой в руке?
Куда в косом его пейзаже
Без седока и без поклажи
Спешит коляска налегке?

БУКВЫ

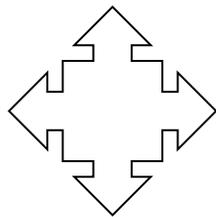
В латинском шрифте, видим мы,
Сказались римские холмы
И средиземных волн барашки,
Игра чешуек и колец.
Как бы ползут стада овец,
Пастух вино сосет из фляжки.

Зато грузинский алфавит
На черепки мечом разбит
Иль сам упал с высокой полки.
Чуть дрогнет утренний туман —
Илья, Паоло, Тициан
Собирают круглые осколки.

А в русских буквах "же" и "ша"
Живет размашисто душа,
Метет метель, шума и пенясь.
В кафтане бойкий ямщикок,
Удал, хмелен и краснощек,
Лошадкой правит, подбоченясь.

А вот немецкая печать,
Так трудно буквы различать,
Как будто марбургские крыши.
Густая готика строки.
Ночные окрики, шаги.
Не разбудить бы! Тише! тише!

Летит еврейское письмо.
Куда? — Не ведает само,
Слова написаны, как ноты.
Скорее скрипочку хватай,
К щеке платочек прижимай,
Не плачь, играй... Ну что ты? Что ты?



СЕМИДЕСЯТЫЕ

«ПИСЬМО» (1974)

Эти вечные счета, расчеты, долги
И подсчеты, подсчеты.
Испещренные цифрами черновики.
Наши гении, мученики, должники.
Рифмы, рядом — расходы.

То ли в карты играл? То ли в долг занимал?
Было пасмурно, осень.
Век железный — зато и презренный металл.
Или рощу сажал и считал, и считал,
Сколько высадил елей и сосен?

Эта жизнь так нелепо и быстро течет!
Покажи, от чего начинать нам отсчет,
Чтоб не сделать ошибки?
Стих от прозы не бегают, наоборот!
Свет осенний и зыбкий.

Под высокими окнами, бурей гоним,
Мчится клен, и высоко взлетают над ним
Медных листьев тройчатки.
К этим сотням и тысячам круглым твоим
Приплюсуем десятки.

.

Снова дикая кошка бежит по пятам
Приближается время платить по счетам
Всё страшней ее взгляды:
Забегает вперед, прижимает к кустам —
И не будет пощады

Всё равно эта жизнь и в конце хороша,
И в долгах, и в слезах, потому что свежа!
И послушная рифма,
Выбегая на зов, и легка, как душа,
И точна, точно цифра!

Кто-то плачет всю ночь.
Кто-то плачет у нас за стеною.
Я и рад бы помочь —
Не пошлет тот, кто плачет, за мною.

Вот затих. Вот опять.
"Спи, — ты мне говоришь, — показалось".
Надо спать, надо спать.
Если б сердце во тьме не сжималось!

Разве плачут в наш век?
Где ты слышал, чтоб кто-нибудь плакал?
Суше не было век.
Под бесслезным мы выросли флагом.

Только дети — и те,
Услыхав: "Как не стыдно?" — смолкают.
Так лежим в темноте.
Лишь часы на столе подтекают.

Кто-то плачет вблизи.
"Спи, — ты мне говоришь, — я не слышу".
У кого ни спроси —
Это дождь задевает за крышу.

Вот затих. Вот опять.
Словно глубже беду свою прячет.
А начну засыпать —
"Подожди, — говоришь, — кто-то плачет!"

Человек привыкает
Ко всему, ко всему.
Что ни год получает
По письму, по письму.

Это в белом конверте
Ему пишет зима.
Обещанье бессмертья —
Содержанье письма.

Как красив ее почерк!
Не сказать никому.
Он читает листочек
И не верит ему.

Зимним холодом дышит
У реки, у пруда.
И в ответ ей не пишет
Никогда, никогда.

Конверт какой-то странный, странный,
Как будто даже самодельный,
И штемпель смазанный, туманный,
С пометкой давности недельной,
И марка странная, пустая,
Размытый образ захолюстья:
Ни президента Уругвая,
Ни Темзы, — так, какой-то кустик.

И буква к букве так теснятся,
Что почерк явно засекречен.
Внизу, как можно догадаться,
Обратный адрес не помечен.
Тихонько рву конверт по краю
И на листе бумаги плотном
С трудом по-русски разбираю
Слова в смятенье безотчетном.

"Мы здесь собрались кругом тесным
Тебя заверить в знак вниманья
В размытом нашем, повсеместном,
Ослабленном существованье.
Когда ночами (бред какой-то!)
Воюет ветер с темным садом,
О всех не скажем, но с тобой-то,
Молчи, не вздрагивай, мы рядом.

Не спи же, вглядывайся зорче,
Нас различай поодиночке".
И дальше почерк неразборчив,
Я пропускаю две-три строчки.
"Прощай! Чернила наши блеклы,
А почта наша ненадежна,
И так в саду листва намокла,
Что шага сделать невозможно".

Ну прощай, прощай до завтра,
Послезавтра, до зимы.
Ну прощай, прощай до марта.
Зиму порознь встретим мы.
Порознь встретим и проводим.
Ну прощай до лучших дней.
До весны. Глаза отводим.
До весны. Еще поздней.

Ну прощай, прощай до лета.
Что ж перчатку теребить?
Ну прощай до как-то, где-то,
До когда-то, может быть.
Что ж тянуть, стоять в передней.
Да и можно ль быть точней?
До черты прощай последней,
До смертельной. И за ней.

Я к ночным облакам за окном присмотрюсь,
Отодвинув суровую штору.
Был я счастлив — и смерти боялся. Боюсь
И сейчас, но не так, как в ту пору.

Умереть — это значит шуметь на ветру
Вместе с кленом, глядящим понуро.
Умереть — это значит попасть ко двору
То ли Ричарда, то ли Артура.

Умереть — расколоть самый твердый орех,
Все причины узнать и мотивы.
Умереть — это стать современником всех,
Кроме тех, кто пока еще живы.

О, слава, ты так же прошла за дождями,
Как западный фильм, не увиденный нами,
Как в парк повернувший последний трамвай, —
Уже и не надо. Не стоит. Прощай!

Сломалась в дороге твоя колесница,
На юг улетела последняя птица,
Последний ушел из Невы теплоход.
Я вышел на Мойку: зима настает.

Нас больше не мучит желание славы,
Другие у нас представленья и нравы,
И милая спит, и в ночной тишине
Пусть ей не мешает молва обо мне.

Снежок выпадает на город туманный.
Замерз на афише концерт фортепьянный.
Пружины дверной глуховатый щелчок.
Последняя рифма стучится в висок.

Простимся без слов, односложно и сухо.
И музыка медленно выйдет из слуха,
Как после купанья вода из ушей,
Как маленький, теплый, щекотный ручей.

Умереть, не побывав в Париже,
Не такая уж беда.
Можно выбрать что-нибудь поближе.
Есть другие города.

Спутник наш в метелях и вожатый,
Разве он угрюм
Оттого, что вместо луврских статуй
Он увидел Арзрум?

Всё же кое-что в тумане видно:
Обелиск, Мулен де ла Галетт...
Александр Сергеевич, мне стыдно,
Что я был в Париже, а вы – нет.

Как у вас лимоном полночь дышит
И Лаура для гостей поет,
А вдали, на севере — в Париже
Дождь идет.

Побывав дней пять в чужой столице,
Поглазев на Нотр-Дам,
Кто у нас стихов о загранице
Не писал, с бравадой пополам?

Только вы, в сугробах утопая
На глухом Конюшенном мосту.
Ненавижу Николая
За его железную узду!

Страшен Мойки вид мемориальный,
Роковой оттенок синевы,
Полумертвый и полуподвальный,
Где лежали вы.

Как боюсь я вот таких диванов,
Скрытых тех пружин.
Взгляд бежит от хроник и романов
Словно впрыснут атропин.

От любви. От выстуженной Леты.
От зимы, сжимающей виски.
От чего еще с ума поэты
Сходят? От тоски.

Ах какой широкою метелью
К ночи тянет ледяной.
Говорят, вы учите веселью
И гармонии сплошной.

Сделайте ученику плохому
Милость, дайте знак,
Что теперь у вас всё по-другому,
Веселей, не так...

Как при хмурой он хорош погоде,
Фиолетов, рыж!
Или там, где вы теперь живете,
Не проблема — дождик и Париж?

ВМЕСТО СТАТЬИ О ВЯЗЕМСКОМ

Я написать о Вяземском хотел,
Как мрачно исподлобья он глядел,
Точнее, о его последнем цикле.
Он жить устал, он прозябать хотел.
Друзья уснули, он осиротел;
Те умерли вдали, а те погибли.

С утра надев свой клетчатый халат,
Сидел он в кресле, рифмы невпопад
Дразнить его под занавес являлись.
Он видел: смерть откладывает срок.
Вздыхал над ним злопамятливый бог,
И музы, приходя, его боялись.

Я написать о Вяземском хотел,
О том, как в старом кресле он сидел,
Без сил, задув свечу, на пару с нею.
Какие тени в складках залегли,
Каким поэтом мы пренебрегли,
Забыв его, но чувствую: мрачнею.

В стихах своих он сам к себе жесток,
Сочувствия не ищет, как листок,
Что корчится под снегом, леденя.
Я написать о Вяземском хотел,
Еще не начал, тут же охладел
Не к Вяземскому, а к самой затее.

Он сам себе забвенью предсказал,
И кажется, что зла себе желал
И медленно сживал себя со свету
В такую тьму, где слова не прочесть.
И шепчет мне: оставим всё как есть.
Оставим всё как есть: как будто нету.

ПОЙДЕМ ЖЕ ВДОЛЬ МОЙКИ, ВДОЛЬ МОЙКИ...

Пойдем же вдоль Мойки, вдоль Мойки,
У стриженных лип на виду,
Глотая туманный и стойкий
Бензинный угар на ходу,
Меж Марсовым полем и садом
Михайловским, мимо былых
Конюшен, широким обхватом
Державших лошадок лихих.

Пойдем же! Чем больше названий,
Тем стих достоверней звучит,
На нем от решеток и зданий
Тень так безупречно лежит.
С тыняновской точной подсказкой
Пойдем же вдоль стен и колонн,
С лексической яркой окраской
От собственных этих имен.

Пойдем по дуге, по изгибу,
Где плоская, в пятнах, волна
То тучу качает, как рыбу,
То с вазами дом Фомина,
Пойдем мимо пушкинских окон,
Музейных подобранных штор,
Минуем Капеллы широкой
Овальный, с афишами, двор.

Вчерашние лезут билеты
Из урн и подвальных щелей.
Пойдем, как по берегу Леты,
Вдоль окон пойдем и дверей,

Вдоль здания Главного штаба,
Его закулисной стены,
Похожей на желтого краба
С клешней непомерной длины.

Потом через Невский, с разбегу,
Всё прямо, не глядя назад,
Пойдем, заглядевшись на реку
И Строганов яркий фасад,
Пойдем, словно кто-то однажды
Уехал иль вывезен был
И умер от горя и жажды
Без этих колонн и перил.

И дальше, по левую руку
Узнав Воспитательный дом,
Где мы проходили науку,
Вдоль черной ограды пойдем,
И, плавясь на шпиле от солнца,
Пускай в раздвижных небесах
Корабль одинокий несется,
Несется на всех парусах.

Как ветром нас тянет и тянет.
Длинноты в стихах не любя,
Ты шепчешь: читатель устанет! —
Не бойся, не больше тебя!
Он, ветер вдыхая холодный,
Не скажет тебе, может быть,
Где счастье прогулки свободной
Ему помогли полюбить.

Пойдем же по самому краю
Тоски, у зеленой воды,
Пойдем же по аду и раю,
Где нет между ними черты,
Где памяти тянется свиток,
Развернутый в виде домов,
И столько блаженства и пыток,
Двузначных больших номеров.

Дом Связи — как будто коробка
И рядом еще коробок.
И дом, где на лестнице робко
Я дергал висячий звонок.
И дом, где однажды до часу
В квартире чужой танцевал.
И дом, где я не был ни разу,
А кажется, жил и бывал.

Ну что же? Юсуповский желтый
Остался не назван дворец
Да словно резинкой подтертый
Голландии Новой багрец.
Любимая! Сколько упорства,
Обид и зачеркнутых строк,
Отчаянья, противоборства
И гребли, волнам поперек!

Твою ненаглядную руку
Так крепко сжимая в своей,
Я всё отодвинуть разлуку
Пытаюсь, но помню о ней...
И может быть, это сверканье
Листвы, и дворцов, и реки
Возможно лишь в силу страданья
И счастья, ему вопреки!

«ПРЯМАЯ РЕЧЬ» (1975)

Быть нелюбимым! боже мой!
Какое счастье быть несчастным!
Идти под дождиком домой
С лицом потерянным и красным.

Какая мука, благодать
Сидеть с закушенной губою,
Раз десять на день умирать
И говорить с самим собою.

Какая жизнь — сходить с ума!
Как тень, по комнате шататься!
Какое счастье — ждать письма
По месяцам — и не дожидаться.

Кто нам сказал, что мир у ног
Лежит в слезах, на всё согласен?
Он равнодушен и жесток.
Зато воистину прекрасен.

Что с горем делать мне моим?
Спи, с головой в ночи укройся.
Когда б я не был счастлив им,
Я б разлюбил тебя, не бойся!

В КАФЕ

В переполненном, глухо гудящем кафе
Я затерян, как цифра в четвертой графе,
И обманут вином тепловатым.
И сосед мой брезглив и едой утомлен,
Мельхиоровым перстнем любитесь он
На мизинце своем волосатом.

Предзакатное небо висит за окном
Пропускающим воду сырым полотном,
Луч, прорвавшись, крадется к соседу,
Его перстень горит самоварным огнем.
"Может, девочек, — он говорит, — позовем?"
И скучает: "хорошеньких нету".

Через миг погружается вновь в полутьму.
Он молчит, так как я не ответил ему.
Он сердит: рассчитаться бы, что ли?
Не торопится к столику официант,
Поправляет у зеркала узенький бант.
Я на перстень гляжу поневоле.

Он волшебный! хозяин не знает о том.
Повернуть бы на пальце его под столом —
И, пожалуйста, синее море!
И коралловый риф, что вскипал у Моне
На приехавшем к нам погостить полотне,
В фиолетово-белом уборе.

Повернуть бы еще раз — и в Ялте зимой
Оказаться, чтоб угольщик с черной каймой
Шел к причалу, как в траурном крепе.
Снова луч родничком замерцал и забил,
Этот перстень... на рынке его он купил,
Иль работает сам в ширпотребе?

А как в третий бы раз, не дыша, повернуть
Этот перстень — но страшно сказать что-нибудь:
Всё не то или кажется — мало!
То ли рыжего друга в дверях увидеть?
То ли этого типа отсюда убрать?
То ли юность вернуть для начала?

Как люблю я полубред
Книг, стареющих во мраке,
Те страницы, что на свет –
Словно денежные знаки.

И поэтов тех люблю,
Что плывут в поля иные,
Словно блики по стеблю
Или знаки водяные.

Блеск бумаги желт и мглист,
Как лошадка, скачет строчка.
Всё разнять стремишься лист,
Словно слиплись три листочка.

Словно там-то, среди трех,
Второпах пропущен нами,
Самый тихий спрятан вздох,
Самый легкий взмах руками.

В тот год я жил дурными новостями,
Бедой своей, и болью, и виною.
Сухими, воспаленными глазами
Смотрел на мир, мерцавший предо мною.

И мальчик не заслуживал вниманья,
И дачный пес, позевывавший нервно.
Трагическое мирозерцанье
Тем плохо, что оно высокомерно.

Та музычка, мотивчик тот,
За мною бегавший весь год,
Отстал – и сразу тихо стало!
К чему бы это? Хвать-похватъ,
А где любовь? А не слыхать!
Вчера была и вдруг пропала.

Так у великих катастроф –
Землетрясений, ледников –
Есть спутник темный, признак дальний,
Пустяк какой-нибудь, штришок,
Так, кое-кто, один дружок,
Сверчок, сморчок, браток нахальный.

«ГОЛОС» (1978)

Слово "нервный" сравнительно поздно
Появилось у нас в словаре
У некрасовской музы нервнойной
В петербургском промозглом дворе.
Даже лошадь нервически скоро
В его желчном трехсложнике шла,
Разночинная пылкая ссора
И в любви его темой была.
Крупный счет от модистки, и слезы,
И больной, истерический смех.
Исторически эти невроты
Объясняются болью за всех,
Переломным сознанием и бытом.
Эту нервность, и бледность, и пыл,
Что неведомы сильным и сытым,
Позже в женщинах Чехов ценил,
Меж двух зол это зло выбирая,
Если помните... ветер в полях,
Коврин, Таня, в саду дымовая
Горечь, слезы и черный монах.
А теперь и представить не в силах
Ровной жизни и мирной любви.
Что однажды блеснуло в чернилах,
То навеки осталось в крови.
Всех еще мы не знаем резервов,
Что еще обнаружат, бог весть,
Но спроси нас: — Нельзя ли без нервов?
— Как без нервов, когда они есть! —
Наши ссоры. Проклятые тряпки.
Сколько денег в июне ушло!
— Ты припомнил бы мне еще тапки.
— Ведь девятое только число, —

Это жизнь? Между прочим, и это.
И не самое худшее в ней.
Это жизнь, это душное лето,
Это шорох густых тополей,
Это гулкое хлопанье двери,
Это счастья неприбранный вид,
Это, кроме высоких материй,
То, что мучает всех и роднит.

Времена не выбирают,
В них живут и умирают.
Большей пошлости на свете
Нет, чем клянчить и пенять.
Будто можно те на эти,
Как на рынке, поменять.

Что ни век, то век железный.
Но дымится сад чудесный,
Блещет тучка; я в пять лет
Должен был от скарлатины
Умереть, живи в невинный
Век, в котором горя нет.

Ты себя в счастливцы прочишь,
А при Грозном жить не хочешь?
Не мечтаешь о чуме
Флорентийской и проказе?
Хочешь ехать в первом классе,
А не в трюме, в полутьме?

Что ни век, то век железный.
Но дымится сад чудесный,
Блещет тучка; обниму
Век мой, рок мой на прощанье.
Время — это испытанье.
Не завидуй никому.

Крепко тесное объятье.
Время — кожа, а не платье.
Глубока его печать.
Словно с пальцев отпечатки,
С нас — его черты и складки,
Приглядевшись, можно взять.

Заснешь и проснешься в слезах от печального сна.
Что ночью открылось, то днем еще не было ясно.
А формула жизни добыта во сне, и она
Ужасна, ужасна, ужасна, прекрасна, ужасна.

Боясь себя выдать и вздохом беду разбудить,
Лежит человек и тоску со слезами глотает,
Вжимаясь в подушку; глаза что открыть, что закрыть —
Темно одинаково; ветер в окно залетает.

Какая-то тень эту темень проходит насквозь,
Не видя его, и в ладонях лицо свое прячет.
Лежит неподвижно: чего он хотел, не сбылось?
Сбылось, но не так, как хотелось? Не скажет. Он плачет.

Под шорох машин, под шумок торопливых дождей
Он ищет подобье поблизости, в том, что привычно,
Не смея и думать, что всех ему ближе Орфей,
Когда тот пошел, каменя, к Харону вторично.

Уже заплетаясь, готовый в тумане пропасть,
А ветер за шторами горькую пену взбивает,
И эту прекрасную, пятую, может быть, часть,
Пусть пятидесятью, пестует и раздувает.

Сквозняки по утрам в занавесках и шторах
Занимаются лепкою бюстов и торсов.
Как мне нравится хлопанье это и шорох,
Громоздящийся мир уранид и колоссов.

В полотняном плену то плечо, то колено
Проступают, и кажется: дыбятся в схватке,
И пытаются в комнату выйти из плена,
И не в силах прорвать эти пленки и складки.

Мир гигантов, несчастных в своем ослепленье,
Обреченных всё утро вспухать пузырями,
Опадая и опять, становясь на колени,
Проступать, прилипая то к ручке, то к раме.

О, пергамский алтарь на воздушной подкладке!
И не надо за мрамором в каменоломни
Лезть; всё утро друг друга кладут на лопатки,
Подминают, и мнут, и внушают: запомни.

И всё утро, покуда ты нежишься, сонный,
В милосердной ночи залечив свои раны,
Там, за шторой, круглясь и толпясь, как колонны,
Напрягаются, спорят и гибнут титаны.

Придешь домой, шурша плащом,
Стирая дождь со щек:
Таинственна ли жизнь еще?
Таинственна еще.

Не надо призраков, теней:
Темна и без того.
Ах, проза в ней еще странней,
Таинственной всего.

Мне дорог жизни крупный план,
Неровности, озноб
И в ней увиденный изъян,
Как в сильный микроскоп.

Биолог скажет, винт кружа,
Что взгляда не отвести.
— Не знаю, есть ли в нас душа,
Но в клетке, — скажет, — есть.

И он тем более смущен,
Что в тайну посвящен.
Ну, значит, можно жить еще.
Таинственна еще.

Придешь домой, рука в мелу,
Как будто подпирал
И эту ночь, и эту мглу,
И каменный портал.

Нас учат мрамор и гранит
Не поминать обид,
Но помнить, как листва летит
К ногам кариатид.

Как мир качается — держись!
Уж не листву ль со щек
Смахнуть решили, сделав жизнь
Таинственной еще.

Любил — и не помнил себя, пробудясь,
Но в памяти имя любимой всплывало,
Два слога, как будто их знал отродясь,
Как если бы за ночь моим оно стало;
Вставал, машинально смахнув одеяло.

И отдых кончался при мысли о ней,
Недолог же он! И опять — наважденье.
Любил — и казалось: дойти до дверей
Нельзя, раза три не войдя в искушенье
Расстаться с собой на виду у вещей.

И старый норвежец, учивший вражде
Любовной еще наших бабушек, с полки
На стол попадал и читался в беде
Запойней, чем новые; фьорды и елки,
И прорубь, и авторский взгляд из-под челки.

Воистину мир этот слишком богат,
Ему нипочем разоренные гнезда.
Ах, что ему наш осуждающий взгляд!
Горят письма, и срываются звезды,
И заморозки забираются в сад.

Любил — и стоял к механизму пружин
Земных и небесных так близко, как позже
Уже не случалось; не знание причин,
А знание причуд; не топтанье в прихожей,
А пропуск в покои, где кресло и ложе.

Любил — и, наверное, тоже любим
Был, то есть отвержен, отмечен, замучен.
Какой это труд и надрыв — молодым
Быть; старым и всё это вынесшим — лучше.
Завидовал птицам и тварям лесным.

Любил — и теперь еще... нет, ничего
Подобного больше, теперь — всё в порядке,
Вот сны еще только не знают того,
Что мы пробудились, и любят загадки:
Завесы, и шторы, и сборки, и складки.

Любил... о, когда это было? Забыл.
Давно. Словно в жизни другой или веке
Другом, и теперь ни за что этот пыл
Понять невозможно и мокрые веки:
Ну что тут такого, любил — и любил.

КУСТ

Евангелие от куста жасминового,
Дыша дождем и в сумраке белея,
Среди аллей и звона комариного
Не меньше говорит, чем от Матфея.

Так бел и мокр, так эти грозди светятся,
Так лепестки летят с дичка задетого.
Ты слеп и глух, когда тебе свидетельства
Чудес нужны еще, помимо этого.

Ты слеп и глух, и ищешь виноватого,
И сам готов кого-нибудь обидеть.
Но куст тебя заденет, бесноватого,
И ты начнешь и говорить, и видеть.

Какое чудо, если есть
Тот, кто затеплил в нашу честь
Ночное множество созвездий!
А если всё само собой
Устроилось, тогда, друг мой,
Еще чудесней!

Мы разве в проигрыше? Нет.
Тогда всё тайна, всё секрет.
А жизнь совсем невероятна!
Огонь, несущийся во тьму!
Еще прекрасней потому,
Что невозвратно.

Быть классиком — значит стоять на шкафу
Бессмысленным бюстом, топорща ключицы.
О Гоголь, во сне ль это всё, наяву?
Так чучело ставят: бекаса, сову.
Стоишь вместо птицы.

Он кутался в шарф, он любил мастерить
Жилеты, камзолы.
Не то что раздеться — куска проглотить
Не мог при свидетелях, — скульптором голый
Поставлен. Приятно ли классиком быть?

Быть классиком — в классе со шкафа смотреть
На школьников; им и запомнится Гоголь —
Не странник, не праведник, даже не щеголь,
Не Гоголь, а Гоголя верхняя треть.

Как нос Ковалева. Последний урок:
Не надо выдумывать, жизнь фантастична!
О юноши, пыль на лице, как чулок!
Быть классиком страшно, почти неприлично.
Не слышат: им хочется под потолок.

Контрольные. Мрак за окном фиолетов,
Не хуже чернил. И на два варианта
Поделенный класс. И не знаешь ответов.
Ни мужества нету еще, ни таланта.
Ни взрослой усмешки, ни опыта жизни.
Учебник достать — пристыдят и отнимут.
Бывал ли кто-либо в огромной отчизне,
Как маленький школьник, так грозно покинут!

Быть может, те годы сказались в особой
Тоске и ознобе? Не думаю, впрочем.
Ах, детства во все времена крутолобый
Вид — вылеплен строгостью и заморочен.
И я просыпаюсь во тьме полуночной
От смертной тоски и слепящего света
Тех ламп на шнурах, белизны их молочной,
И сердце сжимает оставленность эта.
И все неприятности взрослые наши:

Проверки и промахи, трепет невольный,
Любовная дрожь и свидание даже —
Всё это не стоит той детской контрольной.
Мы просто забыли. Но маленький школьник
За нас расплатился, покуда не вырос,
И в пальцах дрожал у него треугольник.
Сегодня бы, взрослый, он это не вынес.

СЛОЖИВ КРЫЛЬЯ

Крылья бабочка сложит,
И с древесной корой совпадет ее цвет.
Кто найти ее сможет?
Бабочки нет.

Ах, ах, ах, горе нам, горе!
Совпадут всеми точками крылья: ни щелки, ни шва.
Словно в греческом хоре
Строфа и антистрофа.

Как богаты мы были, да всё потеряли!
Захотели б вернуть этот блеск — и уже не могли б.
Где дворец твой? Слепец, ты идешь, спотыкаясь в печали.
Царь Эдип.

Радость крылья сложила
И глядит оборотной, тоскливой своей стороной.
Чем душа дорожила,
Стало мукой сплошной.
И меняется почерк,
И, склонясь над строкой,
Ты не бабочку ловишь, а жалкий, засохший листочек,
Показавшийся бабочкою под рукой.

И смеркается время.
Где разводы его, бархатистая ткань и канва?
Превращается в темень
Жизнь, узор дорогой различаешь в тумане едва.

Сколько бабочек пестрых всплывало у глаз и прельщало:
И тропический зной, и в лиловых подтеках Париж!
И душа обмирала —
Да мне голос шепнул: "Не туда ты глядишь!"

Ах, ах, ах, зорче смотрите,
Озираясь вокруг и опять погружаясь в себя.
Может быть, и любовь где-то здесь, только в сложенном виде,
Примостилась, крыло на крыле, молчаливо любя?

Может быть, и добро, если истинно, то втихомолку.
Совершённое втайне, оно совершенно темно.
Не оставит и щелку,
Чтоб подглядывал кто-нибудь, как совершенно оно.

Может быть, в том, что бабочка знойные крылья сложила,
Есть и наша вина: слишком близко мы к ней подошли.
Отойдем — и вспорхнет, и очнется, принцесса Брамбила
В разноцветной пыли!

Сентябрь выметает широкой метлой
Жучков, паучков с паутиной сквозной,
Истерзанных бабочек, ссохшихся ос,
На сломанных крыльях разбитых стрекоз,
Их круглые линзы, бинокли, очки,
Чешуйки, распорки, густую пыльцу,
Их усики, лапки, зацепки, крючки,
Оборки, которые были к лицу.

Сентябрь выметает широкой метлой
Хитиновый мусор, наряд кружевной,
Как если б директор балетных теплиц
Очнулся — и сдунул своих танцовщиц.
Сентябрь выметает метлой со двора
За поле, за речку и дальше, во тьму,
Манжеты, застежки, плащи, веера,
Надежды на счастье, батист, бахрому.

Прощай, моя радость! До кладбища ос,
До свалки жуков, до погоста слепней,
До царства Плутона, до высохших слез,
До блеклых, в цветах, элизийских полей!

Как клен и рябина растут у порога,
Росли у порога Растрелли и Росси,
И мы отличали ампир от барокко,
Как вы в этом возрасте ели от сосен.
Ну что же, что в ложноклассическом стиле
Есть нечто смешное, что в тоге, в тумане
Сгустившемся, глядя на автомобили,
Стоит в простыне полководец, как в бане?
А мы принимаем условность, как данность.
Во-первых, привычка. И нам объяснили
В младенчестве эту веселую странность,
Когда нас за ручку сюда приводили.
И эти могучие медные складки,
Прилипшие к телу, простите, к мундиру,
В таком безупречном ложатся порядке,
Что в детстве внушают доверие к миру,
Стремление к славе. С каких бы мы точек
Ни стали смотреть — всё равно загляденье.
Особенно если кружится листочек
И осень, как знамя, стоит в отдаленье.

И пыльная дымка, и даль в ореоле
Вечернего солнца, и роща в тумане.
Художник так тихо работает в поле,
Что мышшь полевую находит в кармане.
Увы, ее тельце смешно и убого.
И, вынув брезгливо ее из кармана,
Он прячет улыбку. За господа бога
Быть принятым все-таки лестно и странно.
Он думает: если бы в серенькой куртке,
Потертой, измазанной масляной краской,
Он сунулся б тоже, сметливый и юркий,
В широкий карман за теплом и за лаской, —
Взовьются ли, вздрогнут, его обнаружа?
Придушат, пригреют? Отпустят на волю?
За кротость, за вид хлопотливо-тщедушный,
За преданность этому пыльному полю?

НАШИ ПОЭТЫ

Конечно, Баратынский схематичен.
Бесстильность Фета всякому видна.
Блок по-немецки втайне педантичен.
У Анненского в трауре весна.
Цветаевская фанатична муза.
Ахматовой высокопарен слог.
Кузмин манерен. Пастернаку вкуса
Недостает: болтливость – вот порок.
Есть вычурность в строке у Мандельштама.
И Заболоцкий в сердце скуповат.
Какое счастье – даже панорама
Их недостатков, выстроенных в ряд!

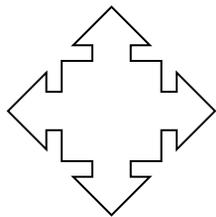
АПОЛЛОН В СНЕГУ

Колоннада в снегу. Аполлон
В белой шапке, накрывшей венки,
Желтоватой синицей пленен
И сугробом, лежащим у ног.
Этот блеск, эта жесткая резь
От серебряной пыли в глазах!
Он продрог, в пятнах сырости весь,
В мелких трещинах, льдистых буграх.

Неподвижность застывших ветвей
И не снилась прилипшим к холмам,
Средь олив, у лазурных морей
Средиземным его двойникам.
Здесь, под сенью покинутых гнезд,
Где и снег словно гипс или мел,
Его самый продвинутый пост
И влиянья последний предел.

Здесь, на фоне огромной страны,
На затаянтом льдом берегу
Замерзают, почти не слышны,
Стоны лиры и гаснут в снегу,
И как будто они ничему
Не послужат ни нынче, ни впредь,
Но, должно быть, и нам, и ему,
Чем больше, тем сладостней петь.

В белых иглах мерцает душа,
В ее трещинах сумрак и лед.
Небожитель, морозом дыша,
Пальму первенства нам отдает,
Эта пальма, наверное, ель,
Обметенная инеем сплошь.
Это — мужество, это — метель,
Это — песня, одетая в дрожь.



«ТАВРИЧЕСКИЙ САД» (1984)

Небо ночное распахнуто настезь — и нам
Весь механизм его виден: шпыньки и пружинки,
Гвозди, колки... Музыкальная трудится там
Фраза, глотая помехи, съедая запинки.

Ночью в деревне, шагнув от раскрытых дверей,
Вдруг ощущаешь себя в золотом лабиринте.
Кажется, только что вышел оттуда Тезей,
Чуткую руку на нити держа, как на квинте.

Что это, друг мой, откуда такая любовь,
Несовершенство свое сознающая явно,
Вся — вне расчета вернуться когда-нибудь вновь
В эти края, а в небесную тьму — и подавно.

Кто этих стад, этой музыки тучной пастух?
Небо ночное скрипучей заведено ручкой.
Стынешь и чувствуешь, как превращается в слух
Зренье, а слух затмевается серенькой тучкой.

Или слезами. Не спрашивай только, о чем
Плачут: любовь ли, обида ли жжется земная —
Просто стоят, подпирая пространство плечом,
Музыку с глаз, словно блещущий рай, вытирая.

НОЧНАЯ БАБОЧКА

Пиджак безжизненно повис на спинке стула.
Ночная бабочка на лацкане уснула.
Где свет застал ее — там выдохлась и спит.
Где сон сморил ее — там крылья распластала.
Вы не добудитесь ее: она устала.
И желтой ниточкой узор ее прошит.

Ей, ночью видящей, свет кажется покровом
Сплошным, как занавес, но с краешком багровым.
В него укутанной, покойно ей сейчас.
Ей снится комната со спящим непробудно
Во тьме, распахнутой безжалостно и чудно,
И с беззащитного она не сводит глаз.

Нет лучшей участи, чем в Риме умереть.
Проснулся с гоголевской фразой этой странной.
Там небо майское умеет розоветь
Легко и молодо над радугой фонтанной.

Нет лучшей участи... похоже на сирень
Оно, весеннее, своим нездешним цветом.
Нет лучшей участи, — твержу... Когда б не тень,
Не тень смертельная... Постой, я не об этом.

Там солнце смуглое, там знойный прах и тлен.
Под синеоками, как пламя, небесами
Там воин мраморный не в силах встать с колен,
Лежат надгробия, как тени под глазами.

Нет лучшей участи, чем в Риме... Человек
Верстою целою там, в Риме, ближе к богу.
Нет лучшей участи, — твержу... Нет, лучше снег,
Нет, лучше белый снег, летящий на дорогу.

Нет, лучше тучами закрытое на треть,
Снежком слепящее, туманы и метели.
Нет лучшей участи, чем в Риме умереть.
Мы не умрем с тобой: мы лучшей не хотели.

СНЕГ

Ах, что за ночь, что за снег, что за ночь, что за снег!
Кто научил его падать торжественно так?
Город и все его двадцать дымящихся рек
Бег замедляют и вдруг переходят на шаг.

Диск телефона не стану крутить — всё равно
Спишь в этот час, отключив до утра аппарат.
Ах, как бело, как черно, как бело, как черно!
Царственно-важный, парадный, большой снегопад.

Каждый шишак на ограде в объеме растет,
Каждый сучок располнел от общественных сумм.
Нас не затопит, но, видимо, нас заметет:
Всё Геркуланум с Помпеей приходят на ум.

В детстве лишь, помнится, были такие снега,
Скоро останется колышек шпилья от нас,
Чтобы Мюнхгаузен, едущий издалека,
К острому шпилью коня привязал еще раз.

Что мне весна? Возьми ее себе!
Где вечная, там расцветет и эта.
А здесь, на влажно дышащей тропе,
Душа еще чувствительней задета
Не ветвью, в бледно-розовых цветах,
Не ветвью, нет, хотя и ветвью тоже,
А той тоской, которая в веках
Расставлена, как сеть; ночной прохожий,
Запутавшись, возносит из нее
Стон к небесам... но там его не слышат,
Где вечный май, где ровное житье,
Где каждый день такой усладой дышат.

И плачет он меж Невкой и Невой,
Вблизи трамвайных линий и мечети,
Но не отдаст недуг сердечный свой,
Зарю и рельсы блещущие эти
За те края, где льется ровный свет,
Где не стареют в горестях и зимах.
Он и не мыслит счастья без примет
Топографических, неотразимых.

В одном из ужаснейших наших
Задымленных, темных садов,
Среди изувеченных, страшных,
Прекрасных древесных стволов,
У речки, лежащей неловко,
Как будто больной на боку,
С названьем Екатерингофка,
Что еле влезает в строку,
Вблизи комбината с прядильной
Текстильной душой нитяной
И транспортной улицы тыльной,
Трамвайной, сквозной, объездной,
Под тучей, а может быть, дымом,
В снегах, на исходе зимы,
О будущем, непредставимом
Свиданье условились мы.

Так помни, что ты обещала.
Вот только боюсь, что и там
Мы врозь проведем для начала
Полжизни, с грехом пополам,
А ткацкая фабрика эта,
В три смены работая тут,
Совсем не оставит просвета
В сцеплении нитей и пут.

На выбор смерть ему предложена была.
Он Цезаря благодарил за милость.
Могла кинжалом быть, петлею быть могла,
Пока он выбирал, топталась и томилась,
Ходила вслед за ним, бубнила невпопад:
Вскрой вены, утопись, с высокой кинься кручи.
Он шкафчик отворил: быть может, выпить яд?
Не худший способ, но, возможно, и не лучший.

У греков — жизнь любить, у римлян — умирать,
У римлян — умирать с достоинством учиться,
У греков — мир ценить, у римлян — воевать,
У греков — звук тянуть на флейте, на цевнице,
У греков — жизнь любить, у греков — торс лепить,
Объемно-теневой, как туча в небе зимнем,
Он отдал плащ рабу и свет велел гасить.
У греков — воск топить и умирать — у римлян.

СОН

В палатке я лежал военной,
До слуха долетал троянской битвы шум,
Но моря милый гул и шорох белопенный
Весь день внушали мне: напрасно ты угрюм.

Поблизости росли лиловые цветочки,
Которым я не знал названья; меж камней
То ящериц узорные цепочки
Сверкали, то жучок мерцал, как скарабей.

И мать являлась мне, как облачко из моря,
Садилась близ меня, стараясь притушить
Прохладную рукой тоску во мне и горе.
Жемчужная на ней дымилась нить.

Напрасен звон мечей: я больше не воюю.
Меня не убедить ни другу, ни льстецу:
Я в сторону смотрю другую,
И пасмурная тень гуляет по лицу.

Триеры грубый киль в песок прибрежный вдавлен —
Я б с радостью отплыл на этом корабле!
Еще подумал я, что счастлив, что оставлен,
Что жить так больно на земле.

Не помню, как заснул и сколько спал — мгновенье
Иль век? — когда сорвал с постели телефон,
А в трубке треск, и скрип, и шорох, и шипенье,
И чей-то крик: "Патрокл сражен!"

Когда сражен? Зачем? Нет жизни без Патрокла!
Прости, сейчас проснусь. еще раз повтори.
И накренился мир, и вдруг щека намокла,
И что-то рухнуло внутри.

Как пуговичка, маленький обол.
Так вот какую мелкую монету
Взимал паромщик! Знать, не так тяжел
Был труд его, но горек, спора нету.

Как сточены неровные края!
Так камешки обтачивает море.
На выставке всё всматривался я
В приплюснутое, бронзовое горе.

Все умерли. Всех смерть смела с земли.
Лишь Федра горько плачет на помосте.
Где греческие деньги? Все ушли
В карман гребцу. Остались две-три горсти.

Когда шумит листва, тогда мне горя мало.
Отпряну, посмотрю на зрелый возраст свой;
Мне лишь бы смысл в стихах листва приподнимала,
Братался листьев шум со строчкой стиховой.

О, как я далеко зашел, как затуманен!
К вечерней ближе я, чем к утренней заре.
Теперь какой-нибудь Филипп Аравитянин
Мне ближе, может быть, чем мальчик во дворе.

Ветрами ли, песком, враждой ли исцарапан,
Изъевшей ли висок частичкой бытия,
Глядит поверх голов солдатский император,
И складочка у губ от горького питья.

Но так листва шумит, что, чем бы ни томила
Жизнь, весело сидеть за письменным столом.
На зло найдется зло, да и на силу сила,
И я — про шум листвы, а вовсе не о том.

ПОДРАЖАНИЕ ДРЕВНИМ

Никто не знает флага той страны.
В морском порту, где столько полосатых
И звездчатых, где синие видны,
И желтые, и в огненных заплатах,
Его лишь нет. Он бел, как облака.
Как майская земля, такой он черный.
Никто не знает флага, языка,
Ландшафт ее равнинный или горный?

Никто не знает флага той страны,
Что глиняного старше Междуречья.
Быть может, все мы там обречены
На хаттское и хеттское наречье.
Никто не знает флага, языка,
Он запылен, как кровельщика фартук.
Пока мы здесь, пока твоя рука
Лежит в моей, что Иштар нам, что Мардук?

Никто не знает флага той страны.
Оттуда корабли не приплывали.
Быть может, в языке сохранены
Праиндоевропейские детали.
Что там, холмы, могучая река?
Кого там ценят, Будду или Плавта?
Никто не знает флага, языка.
Ни языка, ни флага, ни ландшафта.

Как буйно жизнь кипит на стенках саркофага!
Здесь и весна, и страсть, и гордый Ипполит
С собакой и конем, не сдерживая шага,
От мачехи письмо отвергнуть норовит.

Стояли долго мы пред мраморным рассказом,
Смерть жизнью с четырех сторон окружена
И льнет к морским волнам, ступеням и террасам,
К охоте и любви, за камнем не видна.

Там кто-то горько спит, — живые только сладко
Спят, — мерно обойдя его со всех сторон,
Мы видим: жизнь и смерть — единая двойчатка,
На смертном камне мир живой запечатлен.

Конюших провести беспечною гурьбою,
Кормилицу пригнуть, морской раскинуть вал...
Жизнь украшает смерть искусною резьбою,
Без смерти кто бы ей сюжеты обновлял?

И если спишь на чистой простыне,
И если свеж и тверд пододеяльник,
И если спишь, и если в тишине
И в темноте, и сам себе начальник,
И если ночь, как сказано, нежна,
И если спишь, и если дверь входную
Закрыл на ключ, и если не слышна
Чужая речь, и музыка ночную
Не соблазняет счастьем тишину,
И не срывают с криком одеяло,
И если спишь, и если к полотну
Припав щекой, с подтеками крахмала,
С крахмальной складкой, вдавленной в висок,
Под утюгом так высохла, на солнце?
И если пальцев белый табунок
На простыне. доверчиво пасется,
И не трясут за теплое плечо,
Не подступают с окриком и лаем,
И если спишь, чего тебе еще?
Чего еще? Мы большего не знаем.

ФЛЕЙТИСТ

Откуда родом бронзовый флейтист?
Мне флейты родниковый снится голос.
Не с Крита ли, который так дуплист
И вытянут? Эвбея, Скирос, Родос...

Он голову чуть набок наклонил.
Он видит, что и звезды звуку рады.
Он думает: кто в море накрошил,
Как в миску с супом, черствые Спорады?

Других вопросов он не задает.
Кто флейту изобрел, ему известно.
Упала к нам с озвученных высот —
Теперь на ней играют повсеместно.

Кинь что-нибудь — мы подберем с земли
И к надобностям смертным приспособим.
Он ерзает, и руки затекли,
И холодно, и смотрит исподлобья.

Но, выщербленный, он не видит нас
За скважистыми, как скала, веками.
А палец в круглой дырочке увяз,
И жизнь согрета теплыми губами.

ПЧЕЛА

Пяťсь, пчела выбирается вон из цветка.
Ошеломленная, прочь из горячих объятий.
О, до чего ж эта жизнь хороша и сладка,
Шелка нежней, бархатистого склона покатай!

Господи, ты раскалил эту жаркую печь
Или сама она так распалилась — неважно,
Что же ты дал нам такую разумную речь,
Или сама рассудительна так и протяжна?

Кажется, память на время отшибло пчеле.
Ориентацию в знойном забыла пространстве.
На лепестке она, как на горячей золе,
Лапками перебирает и топчется в трансе.

Я засмотрелся — и в этом ошибка моя.
Чуть вперевалку, к цветку прижимаясь всем телом,
В желтую гущу вползать, раздвигая края
Радости жгучей, каленьем подернутой белым.

Алая ткань, ни раскаянья здесь, ни стыда.
Сколько ни вытянуть — ни от кого не убудет.
О, неужели однажды придут холода,
Пламя погасят и зной этот чудный остудят?

Эта тень так прекрасна сама по себе под кустом
Волоокой сирени, что большего счастья не надо:
Куст высок, и на столик ложится пятно за пятном,
Ах, какая пятнистая, в мелких заплатах, прохлада!

Круглый мраморный столик не лед ли сумел расколоть,
И как будто изглодана зимнею стужей окружность.
Эта тень так прекрасна сама по себе, что господь
Устранился бы, верно, свою ощущая ненужность.

Боже мой, разве общий какой-нибудь замысел здесь
Представим — эта тень так привольно и сладостно дышит,
И свежа, и случайность, что столик накрыт ею весь,
Как попоной, и ветер сдвигает ее и колыхет.

А когда, раскачавшись, совсем ее сдернет, — глаза
Мы зажмурим на миг от июньского жесткого света.
Потому и трудны наши дни, и в саду голоса
Так слышны, и светло, и никем не задумано это.

БОГ С ОВЦОЙ

Бог, на плечи ягненка взвалив,
По две ножки взял в каждую руку.
Он-то вечен, всегда будет жив,
Он овечью не чувствует муку.

Жизнь овечья подходит к концу.
Может быть, пострижет и отпустит?
Как ребенка, несет он овцу
В архаичном своем захолустье.

А ягненок не может постичь,
У него на плече полулежа,
Почему ему волны не стричь?
Ведь они завиваются тоже.

Жаль овечек, барашков, ягнят,
Их глаза наливаются болью.
Но и жертва, как нам объяснят
В нашем веке свыкается с ролью.

Как плывут облака налегке!
И дымок, как из шерсти, из ваты;
И припала бы к Божьей руке,
Да все ножки четыре зажаты.

Камни кидают мальчишки философу в сад.
Он обращался в полицию — там лишь разводят руками.
Холодно. С Балтики рваные тучи летят
И притворяются над головой облаками.

Дом восьмикомнатный, в два этажа; на весь дом
Кашляет Лампе, слуга, серебро протирая
Тряпкой, а всё потому, что не носом он дышит, а ртом
В этой пыли; ничему не научишь лентяя.

Флоксы белеют; не спустишься в собственный сад,
Чтобы вдохнуть их мучительно-сладостный запах.
Бог — это то, что не в силах пресечь камнепад,
В каплях блестит, в шелестенье живет и накрапах.

То есть его, говоря осмотрительно, нет
В онтологическом, самом существенном, смысле.
Бог — совершенство, но где совершенство? Предмет
Спора подмочен, и капли на листьях повисли.

Старому Лампе об этом не скажешь, бедняк
В боге нуждается, чистя то плащ, то накидку.
Бог — это то, что, наверное, выйдя во мрак
Наших дверей, возвращается утром в калитку.

Кавказской в следующей жизни быть пчелой,
Жить в сладком домике под синею скалой,
Там липы душистые, там глянцевые кроны.
Не надышался я тем воздухом, шальной
Не насладился я речной волной зеленой.

Она так вспенена, а воздух так душист!
И ходит, слушая веселый птичий свист,
Огромный пасечник в широкополой шляпе,
И сетка серая свисает, как батист.
Кавказской быть пчелой, все узелки ослабив.

Пускай жизнь прежняя забудется, сухим
Пленившись воздухом, летать путем слепым,
Вверяясь запахам томительным, роскошным.
Пчелой кавказской быть, и только горький дым,
Когда окуривают пчел, повеет прошлым.

Мне весело, что Бакст, Нижинский, Бенуа
Могли себя найти на прустовской странице
Средь вымышленных лиц, где сложная канва
Еще одной петлей пленяет — и смутиться
Той славы и молвы, что дали им на вход
В запутанный роман прижизненное право,
Как если б о себе подслушать мнение вод
И трав, расчесанных налево и направо.

Представьте: кто-нибудь из них сидел, курил,
Читал четвертый том и думал отложить — и
Как если б вдруг о нем в саду заговорил
Боярышник в цвету иль в туче — небожитель.
О музыка, звучи! Танцовщик, раскружи
Свой вылепленный торс, о живопись, не гасни!
Как весело снуют парижские стрижи!
Что путаней судьбы, что смерти безопасней?

В полуплаще, одна из аонид,
Иль это платье так на ней сидит?
В полуплюще, и лавр по ней змеится.
"Я чистая условность, — говорит, —
И нет меня", — и на диван садится.

Ей нравится, во-первых, телефон:
Не позвонить ли, думает, подружке?
И вид в окне, и Смольнинский район,
И тополей кипящие верхушки.

Каким я древним делом занят! Что ж
Всё вслушиваюсь, как бы поновее
Сказать о том, как этот мир хорош?
И плох, и чужд, и нет его роднее!

А дева к уху трубку поднесла
И диск вращает пальчиком отбитым.
Верти, верти. Не меньше в мире зла,
Чем было в нем, когда в него внесла
Ты дивный плач по храбрым и убитым

Но лгать и впрямь нельзя, и кое-как
Сказать нельзя — на том конце цепочки
Нас не простят укутанный во мрак
Гомер, Алкей, Катулл, Гораций Флакк,
Расслышать нас встающий на носочки.

«ДНЕВНЫЕ СНЫ» (1986)

Горячая зима! Пахучая! Живая!
Слепит густым снежком, колючим, как в лесу,
Притихший Летний сад и площадь засыпая,
Мильоны знойных звезд лелея на весу.

Как долго мы ее боялись, избегали,
Как гостя из Уфы, хотели б отменить,
А гость блестящ и щедр, и так, как он, едва ли
Нас кто-нибудь еще сумеет ободрить.

Теперь бредем вдвоем, а третья — с нами рядом
То змейкой прошуршит, то вдруг, как махаон,
Расшитым рукавом, распахнутым халатом
Махнет у самых глаз, — волшебный, чудный сон!

Вот видишь, не страшны снега, в их цельнокройных
Одеждах, может быть, все страхи таковы!
От лучших летних дней есть что-то, самых знойных,
В морозных облаках январской синевы.

Запомни этот день, на всякий горький случай.
Так зиму не любить! Так радоваться ей!
Пищащий снег, живой, бормочущий, скрипучий!
Не бойся ничего: нет смерти, хоть убей.

Наш северный модерн, наш серый, моложавый,
Ампиру не в пример, обойден громкой славой
И, более того, едва не уличен
В безвкусице, меж тем как, сумрачно-шершавый,
Таинствен, многолик и неподделен он.

Вот человеческий стиль, для жизни создан частной,
Чтобы автомобиль во двор дугообразный
Въезжал, а там цвели сирень и барбарис.
Нарядных окон ряд, — прозрачный стиль, глазастый!
Никто не виноват, что тучей век навис.

Та музыка сошла, поэзия завяла.
Не то чтоб ремесла, — тепла в них было мало,
Но камень устоял, песчаник и гранит.
И каменной сове всё видно с пьедестала:
И нас переживет, и век пересидит.

Спасибо за цветы на лестничных перилах!
Гирлянды и жгуты чугунные за милых
Наставников сойти в младенчестве смогли,
Воспитывая глаз, и всё, что было в силах,
Всё делали для нас, в ущербе и пыли.

Кто едет в купе и глядит на метель,
Что по полю рыщет и рвется по следу,
Тот счастлив особенно тем, что постель
Под боком, и думает: странно, я еду
В тепле и уюте сквозь эти поля,
А ветер горюет и тащится следом;
И детское что-то, заснуть не веля,
Смущает его в удовольствии этом.

Как маленький, он погружает в пургу
Себя, и глядит, отстранясь удивленно,
На поезд, и всё представляет в снегу
Покатую, черную крышу вагона,
И чем в представленье его холодней
Она и покатай, тем жить веселее.
О, спать бы и спать среди снежных полей,
Заломленный кустик во мраке жалея.

Наверное, где-нибудь и теплых краях
Подобное чувство ни взрослым, ни детям
Неведомо; нас же пленяет впотьмах
Причастность к пространствам заснеженным этим.
Как холоден воздух, еще оттого,
Что в этом просторе, взметенном и пенном,
С Карениной мы наглотались его,
С Петрушей Гриневым и в детстве военном.

Как мы в уме своем уверены,
Что вслед за ласточкой с балкона
Не устремимся, злонамеренны,
Безвольно, страстно, исступленно,
Нарочно, нехотя, рассеянно,
Полуосознанно, случайно...
Кем нам уверенность навеяна
В себе, извечна, изначально?

Что отделяет от безумия
Ум, кроме поручней непрочных?
Без них не выдержит и мумия
Соседство ласточек проточных:
За тенью с яркой спинкой белою
Шагнул бы, недоумевая,
С безумной мыслью — что я делаю? —
Последний, сладкий страх глотая.

Смысл жизни — в жизни, в ней самой.
В листве, с ее подвижной тьмой,
Что нашей смуте неподвластна,
В волненье, в пенье за стеной.
Но это в юности неясно.

Лет двадцать пять должно пройти.
Душа, цепляясь по пути
За всё, что висилось и висло,
Цвело и никло, дорасти
Сумеет, нехотя, до смысла.

МИКЕЛАНДЖЕЛО

Ватикана создатель всех лучше сказал: "Пустяки,
Если жизнь нам так нравится, смерть нам понравится тоже,
Как изделие того же ваятеля"... Ветер с реки
Залетает, и воздух покрылся гусиной кожей.
Растрепались кусты... Я представил, что нас провели
В мастерскую, где дивную мы увидели скульптуру.
Но не хуже и та, что стоит под брезентом вдали
И еще не готова... Апрельского утра фактуру,
Блеск его и зернистость нам, может быть, дали затем,
Чтобы мастеру мы и во всём остальном доверяли.
Эта статья, эта мощь, этот низко надвинутый шлем...
Ах, наверное, будет не хуже в конце, чем в начале.

Всё гудел этот шмель, всё висел у земли на краю,
Улетать не хотел, рыжеватый, ко мне прицепился,
Как полковник на пляже, всю жизнь рассказавший свою
За двенадцать минут; впрочем, я бы и в три уложился.

Немигающий зной и волны жутковатый оскал.
При безветрии полном такие прыжки и накаты!
Он в писательский дом по горячей путевке попал
И скучал в нем, и шмель к простыне прилипал полосатой.

О Москве. О жене. Почему-то еще Иссык-Куль
Раза три вспоминал, как бинокль потерял на турбазе.
Захоти о себе рассказать я, не знаю, смогу ль,
Никогда не умел, закруглялся на первой же фразе.

Ну, лети, и пыльцы на руке моей, кажется, нет.
Одиночество в райских приморских краях нестерпимо.
Два-три горьких признанья да несколько точных замет —
Вот и всё, да струя голубого табачного дыма.

Биография, что это? Яркого моря лоскут?
Заблудившийся шмель? Или памяти старой запасы?
Что сказать мне ему? Потерпи, не печалься, вернут,
Пыль стерев рукавом, твой военный бинокль синеглазый.

Вот счастье — с тобой говорить, говорить, говорить
Вот радость — весь вечер, и вкрадчивой ночью, и ночью.
О, как она тянется, звездная тонкая нить,
Прошив эту тьму, эту яму волшебную, волчью!

До ближней звезды и за год не доедешь! Вдвоем
В медвежьем углу глуховатой Вселенной очнуться
В заставленной комнате с креслом и круглым столом.
О жизни. О смерти. О том, что могли разминуться.

Могли зазеваться. Подумаешь, век или два!
Могли б заглядеться на что-нибудь, попросту сбиться
С заветного счета. О, радость, ты здесь, ты жива.
О, нацеловаться! А главное, наговориться!

За тысячи лет золотого молчанья, за весь
Дожизненный опыт, пока нас держали во мраке.
Цветочки на скатерти — вот что мне нравится здесь.
О Тютчевской неге. О дивной полуденной влаге.

О вилле, ты помнишь, как двое порог перешли
В стихах его римских, спугнув вековую истому?
О стуже. О корке заснеженной бедной земли,
Которую любим, ревнуя к небесному дому.

Как пахнет эвкалипт пицундский, придорожный,
Как сбрасывает он обвисшую кору,
Сухой, неосторожный!
Для запахов никак я слов не подберу.

А в знойной вышине как будто десять шапок,
Так зеленью кустистой он накрыт.
Не память, не любовь, всего сильнее запах,
Который ускользнуть навеки норовит.

Вот то, чему и впрямь на свете нет названья.
Нельзя определить, понять через другой,
Сравнить... вот вещь в себе... молчит воспоминанье,
Воображенья спит... напрасен оклик твой.

Не отзовется тот, кто терпким, вездесущим,
Когда под ним стоишь, склонялся, обступал.
Он там, вдали от нас, прекрасен и запущен,
Как бы волшебный круг сплошной образовал,

Магический... зато когда-нибудь, хоть в жизни
Совсем другой, вернись под пышный свод, —
И он тебе вручит и нынешние мысли,
И знойный этот день в сохранности вернет.

Тарелку мыл под быстрою струей
И всё отмыть с нее хотел цветочек,
Приняв его за крошку, за сырой
Клочок еды, — одной из проволочек
В ряду заминок эта тень была
Рассеянности, жизнь одолевавшей...
Смыть, смыть, стереть, добраться до бела,
До сути нам сквозь сумрак просиявшей.

Но выяснилось: желто-голубой
Цветочек неделим и несмываем.
Ты ж просто недоволен сам собой,
Поэтому и мгла стоит за краем
Тоски, за срезом дней, за ободком,
Под пальцами приподнято волнистым...
Поэзия, следи за пустяком,
Сперва за пустяком, потом за смыслом.

Цезарь, Август, Тиберий, Калигула, Клавдий, Нерон...
Сам собой этот перечень лег в стихотворную строчку.
О, какой безобразный, какой соблазнительный сон!
Поиграй, поверти, поддержи на руке, как цепочку.

Ни порвать, ни разбить, ни местами нельзя поменять.
Выходили из сумрака именно в этом порядке,
Словно лишь для того, чтобы лучше улечься в тетрадь,
Волосок к волоску и лепные волнистые складки.

Вот теперь наконец я запомню их всех наизусть.
Я диван обогнул, я к столу прикоснулся и стулу.
На таком расстоянии и я никого не боюсь.
Ни навету меня не достать, ни хуле, ни посулу.

Преимущество наше огромно, в две тысячи лет.
Чем его заслужил я, — никто мне не скажет, не знаю.
Словно мир предо мной развернул свой узор, свой сюжет,
И я пальцем веду по нему и вперед забегаю.

Перевалив через Альпы, варварский городок
Проезжал захолустный, бревна да глина.
Кто-то сказал с усмешкой, из фляги отпив глоток,
Кто это был, неважно, Пизон или Цинна:
"О, неужели здесь тоже борьба за власть
Есть, хоть трибунов нет, консулов и легатов?"
Он придержал коня, к той же фляжке решив припасть,
И, вернув ее, отвечал хрипловато
И, во всяком случае, с полной серьезностью: "Быть
Предпочел бы первым здесь, чем вторым или третьим в Риме..."
Сколько веков прошло, эту фразу пора б забыть!
Миллиона четыре в городе, шесть — с окрестностями заводскими.
И, повернувшись к тому, кто на заднем сиденье спит —
Укачало его, — спрошу: "Как ты думаешь, изменился
Человек или он всё тот же, словно пиния и самшит?"
Ничего не ответит, решив, что вопрос мой ему приснился.

ПЕРЕД СТАТУЕЙ

В складках каменной тоги у Гальбы стоит дождевая вода.
Только год он и царствовал, бедный,
Подозрительный... здесь досаждают ему холода,
Лист тяжелый дубовый на голову падает, медный.

Кончик пальца смочил я в застойной воде дождевой
И подумал: еще заражусь от него неудачей.
Нет уж, лучше подальше держаться от этой кривой,
Обреченной гримасы и шеи бычачьей.

Что такое бессмертие, память, удачливость, власть, —
Можно было обдумать в соседстве с обшарпанным бюстом.
Словно мелкую снасть
Натянули на камень, — наложены трещинки густо.

Оказаться в суровой, размытой дождями стране,
Где и собственных цезарей помнят едва ли...
В самом страшном своем, в самом невразумительном сне
Не увидеть себя на покрытом снежком пьедестале.

Был приплюснут твой нос, был ты жалок и одутловат,
Эти две-три черты не на вечность рассчитаны были,
А на несколько лет... но глядят, и глядят, и глядят.
Счастлив тот, кого сразу забыли.

Гудок пароходный — вот бас; никакому певцу
Не снилась такая глубокая, низкая нота;
Ночной мотылек, обезумев, скользнет по лицу,
Как будто коснется слепое и древнее что-то.

Как будто все меры, которые против судьбы
Предприняты будут, ее торжество усугубят.
Огни ходовые и рев пароходной трубы.
Мы выйдем — нас встретят, введут во дворец и полюбят.

Сверните с тропы, обойдите, не трогайте нас!
Гудок пароходный берет эту жизнь на поруки.
Как бы в три погибели, грузный зажав контрабас,
Откуда-то снизу, с трудом, достают эти звуки.

На ощупь, во мраке... Густому, как горе, гудку
Ответом — волненье и крупная дрожь мировая.
Так пишут стихи, по словцу, по шажку, по глотку,
С глазами закрытыми, тычась и дрожь унимая.

Как будто все чудища древнего мира рычат,
Все эти драконы, грифоны, быки, минотавры...
Дремучая жизнь и волшебный, внимательный взгляд,
И, может быть, даже посмертные бедные лавры.

За дачным столиком, за столиком дощатым,
В саду за столиком, за вкопанным, сырым,
За ветхим столиком я столько раз объятым
Был светом солнечным, вечерним и дневным!

За старым столиком... слова свое значенье
Теряют, если их раз десять повторить.
В саду за столиком... почти развопощенье...
С каким-то Толиком, и смысл не уловить.

В саду за столиком... А дело в том, что слишком
Душа привязчива... и ей в щелях стола
Все иглы дороги, и льнет к еловым шишкам,
И склонна всё отдать за толику тепла.

В любительском стихотвореньи огрехи страшней, чем грехи.
А хор за стеной в помещенье поет, заглушая стихи,
И то ли стихи не без фальши иль в хоре, фальшивя, поют,
Но как-то всё дальше и дальше от мельниц, колес и запруд.

Что музыке жалкое слово, она и без слов хороша!
Хозяина жаль дорогого, что, бедный, живет не спеша,
Меж тем как движенье, движенье прописано нам от тоски.
Всё благо: и жалкое пенье, и рифм неумелых тиски.

За что нам везенье такое, вертлявых плотвичек не счесть?
Чем стихотворенье плохое хорошего хуже, бог весть!
Как будто по илу ступаю в сплетенье придонной травы.
Сказал бы я честно: не знаю, - да мне доверяют, увы.

Уж как там, не знаю, колеса немецкую речку рыхлят,
Но топчет бумагу без спроса стихов ковыляющий ряд, —
Любительское сочиненье при Доме ученых в Лесном,
И Шуберта громкое пенье в соседнем кружке хоровом.

«ЖИВАЯ ИЗГОРОДЬ» (1988)

ВОСПОМИНАНИЯ

Н. В. была смешливою моей
подругой гимназической (в двадцатом
она, эс-эр, погибла), вместе с ней
мы, помню, шли весенним Петроградом
в семнадцатом и встретили К. М.,
бегущего на частные уроки,
он нравился нам взрослостью и тем,
что беден был (повешен в Таганроге),
а Надя Ц. ждала нас у ворот
на Ковенском, откуда было близко
до цирка Чинизелли, где в тот год
шли митинги (погибла как троцкистка),
тогда она дружила с Колей У.,
который не политику, а пенье
любил (он в горло ранен был в Крыму,
попал в Париж, погиб в Соппротивлень),
нас Коля вместо митинга зазвал
к себе домой, высокое на диво
окно смотрело прямо на канал,
сестра его (умершая от тифа)
Ахматову читала наизусть,
а Боря К. смешил нас до упаду,
в глазах своих такую пряча грусть,
как будто он предвидел смерть в блокаду,
и до сих пор я помню тот закат,
жемчужный блеск уснувшего квартала,
потом за мной зашел мой старший брат
(расстрелянный в тридцать седьмом), светало...

И В СКВЕРИКЕ ПОД ВЯЗОМ...

Бог, если хочешь знать, не в церкви грубой той
С подсвеченным ее резным иконостасом,
А там, где ты о нем подумал, — над строкой
Любимого стиха, и в скверике под вязом,
И в море под звездой, тем более — в тени
Клинических палат с их бредом и бинтами.
И может быть, ему милее наши дни,
Чем пыл священный тот, — ведь он менялся с нами.

Бог — это то, что мы подумали о нем,
С чем кинулись к нему, о чем его спросили.
Он в лед ввергает нас, и держит над огнем,
И быстрой рад езде в ночном автомобиле,
И может быть, живет он нашей добротой
И гибнет в нашем зле, по-прежнему кромешном.
Мелькнула, вся в огнях, — не в церкви грубой той,
Не только в церкви той, хотя и в ней, конечно.

Старуха, что во тьме поклоны бьет ему,
Пускай к себе домой вернется в умиление.
Но пусть и я строку заветную прижму
К груди, пусть и меня заденет шелестенье
Листвы, да обрету покой на полчаса
И в грозный образ тот, что вылеплен во мраке,
Внесу две-три черты, которым небеса,
Быть может, как теплу сочувствуют и влаге.

Скорей соринка, чем жучок. Полусоринка,
Полужучок. Но как у нас из-под руки
Стремглав она бежит! Вот пауза, заминка.
Вот снова мелкий бег, зигзаги и рывки.

И можно ль не бежать, и можно ль не бояться?
Страх — вот что всех иных, священных чувств древней.
Не помню, кто бежал так, бросив щит, — Гораций?
Соринкой лучше быть: поди ее прибай!

Жучок, товарищ мой, зазорный брат забытый,
Засунутый бог весть в какую пыль, сухой,
Запуганный, — задет слепой твоей обидой,
Что вижу? Голый страх, защитный страх живой.

Не память, не любовь, не жажда приключений
Роднит живущих нас, не поиски добра,
А страх, бессмертный страх... Тем храбрость драгоценней!
Соринка, стать жучком решившись, так храбра.

Надгробие. Пирующий этруск.
Под локтем две тяжелые подушки,
Две плоские, как если бы моллюск
Из плотных створок выполз для просушки
И с чашею вина застыл в руке,
Задумавшись над жизнью, полуголый...
Что видит он, печальный, вдалеке:
Дом, детство, затененный дворик школы?

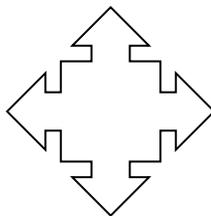
Иль смотрит он в грядущее, но там
Не видит нас, внимательных, — еще бы! —
Доступно человеческим глазам
Лишь прошлое, и всё же, крутолобый,
Он чувствует, что смотрят на него
Из будущего, и, оставив чашу,
Как звездный свет, соседа своего
Не слушая, вбирает жалость нашу.

Ты не права — тем хуже для меня.
Чем лучше женщина, тем ссора с ней громадней.
Что удивительно: ни ум, как бы родня
Мужскому, прочному, ни искренность, без задней
Подпольной мысли злой, — ничто не в помощь ей.
Неутолимое страданье
В глазах и логика, чем четче и стройней,
Что вся построена на ложном основанье.

Постройка шаткая возведена тоской
И болью, — высится, бесслезная громада.
Прижмись щекой
К ней, уступи во всём, проси забыть, — так надо.

Лишь поцелуями, нет, собственной вины,
Несуществующей, признанием — добиться
Прощенья можем мы. О, дочери и сыны
Ветхозаветные, сейчас могла б страница
Помочь волшебная, всё знающая, — жаль,
Что нет заветной под рукою.
Не плачь. Мы справимся. Люблю тебя я. Вдаль
Смотрю. Люблю тебя. С печалью вековою.

На череп Моцарта, с газетной полосы
На нас смотревшего, мы с ужасом взглянули.
Зачем он выкопан? Глазницы и пазы
Зияют мрачные во сне ли, наяву ли?
Как! В этой башенке, в шкатулке черепной,
В коробке треснувшей с неровными краями
Сверкала музыка с подсветкой неземной,
С восьмыми, яркими, как птичий свист, долями!
Мне человечество не полюбить, печаль,
Как землю жирную, не вытряхнуть из мыслей.
Мне человечности, мне человека жаль!
Чела не выручить, обид не перечислить.
Марш — в яму с известью, в колымский мрак, в мешок,
В лед, "Свадьбу Фигаро" забыв и всю браваду.
О, приступ скромности, ее сплошной урок!
Всех лучших спрятали по третьему разряду.
Тсс... Где-то музыка играет... Где? В саду.
Где? В ссылке может быть... Где? В комнате, в трактире,
На плечи детские свои взвалив беду,
И парки венские, и хвойный лес Сибири.



ДЕВЯНОСТЫЕ

«НОЧНАЯ МУЗЫКА» (1991)

"Слава — это солнце мертвых".
Пыль на стоптанных ботфортах,
Смерти грубая печать.
Сыну почв сухих и твердых,
Корсиканцу лучше знать.

Смуглый, он-то в этом зное
Разбирался, как никто.
Припечет нас золотое
Лет примерно через сто.

Фивы рядом с нами, Троя.
Не похож ты на героя:
Шапка, зимнее пальто.

Не тянись, себя не мучь.
Что ж, любил, любил я страстно
В нашей стуже из-за туч
Достававший нас нечасто
Изможденный, слабый луч.

Ненадежное мерцанье
Сквозь клубящийся туман
Нам он был, как обещанье
Незакатных волн и стран.

Городские расстоянья,
Разбежавшиеся мысли...
А тому, кого при жизни
Он избаловал, тому
Будет холодно в отчизне
Той, как в зимний день в Крыму.

Как ночью берегом крутым
Ступая робко каменистым.
Шаг, еще шаг... За кем? За ним.
За спотыкающимся смыслом.
Густая ночь и лунный дым.
Как за слепым контрабандистом.

Стихи не пишутся – идут,
Раскинув руки, над обрывом,
И камешек то там, то тут
Несется с шорохом счастливым
Вниз: не пугайся! Темный труд
Оправдан будничным мотивом.

Я не отдам тебя, печаль,
Тебя, судьба, тебя, обида,
Я тоже вслушиваюсь в даль,
Товар — в узле, всё шито-крыто.
Я тоже чернь, я тоже шваль,
Мне ночь — подмога и защита.

Не стал бы жить в чужой стране
Не потому, что жить в ней странно,
А потому, что снится мне
Сюжет из старого романа:
Прогулка в лодке при луне,
Улыбка, полная обмана.

Где жизнь? прокралась, не догнать.
Забудет нас, расставшись с нами.
Не плачь, как мальчик. Ей под стать
Пространство с черными волнами.
С земли не станем поднимать
Монетку, помнишь, как в Тамани?

Сторожить молоко я поставлен тобой,
Потому что оно норовит убежать.
Умерев, как бы рад я минуте такой
Был: воскреснуть на миг, пригодиться опять.

Не зевай! Белой пеночке рыхлой служи,
В надувных, золотых пузырьках пустяку.
А глаголы, глаголы-то как хороши:
Сторожить, убежать, — относясь к молоку!

Эта жизнь, эта смерть, эта смертная грусть,
Прихотливая речь, сколько помню себя...
Не сердись: я задумуюсь — и спохвачусь.
Я из тех, кто был точен и зорек, любя.

Надувается, сердится, как же! пропасть
Так легко... столько всхлипов, и гневных гримас,
И припухлостей... пенная, белая страсть;
Как морская волна, окатившая нас.

Тоже, видимо, кто-то тогда начеку
Был... О, чудное это, слепое "чуть-чуть",
Вскипятить, отпустить, удержать на бегу,
Захватить, погасить, перед этим — подуть.

ВОДОПАД

Чтобы снова захотелось жить, я вспомню водопад,
Он цепляется за камни, словно дикий виноград,
Он висит в слепой отчизне писем каменных и книг, —
Вот кто всё берет от жизни, погибая каждый миг.

Весь Шекспир с его витийством — только слепок, младший брат,
Вот кто жизнь самоубийством из любви к ней кончить рад!
Вот где год считают за три, где разомкнуты уста,
В каменном амфитеатре все заполнены места!

Пусть церквушка на церквушке там вздымаются, подряд,
Как подушка на подушке горы плоские лежат,
Не тащи меня к машине: однолюб и нелюдим —
Даже ветер на вершине мешковат в сравненье с ним!

Смуглых рук его сплетенье и покатое плечо.
Мне теперь ничье кипенье на земле не горячо!
Он живой, а ты — живущий, поживающий, слегка
Умиращий, жующий жизнь, желанья, облака...

Посмотри: в вечном трауре старые эти абхазки.
Что ни год, кто-нибудь умирает в огромной родне.
Тем пронзительней южные краски,
Полыхание роз, пенный гребень на синей волне,
Не желающий знать ничего о смертельной развязке,
Подходящий с упреком ко мне.

Сам не знаю, какая меня укусила кавказская муха.
Отшучусь, может быть.
Ах, поэзия, ты, как абхазская эта старуха,
Всё не можешь о смерти забыть,
Поминаешь ее в каждом слове то громко, то глухо,
Продеваешь в ушко синеокое черную нить.

АПОЛЛОН В ТРАВЕ

В траве лежи. Чем гуще травы,
Тем незаметней белый торс,
Тем дальнобойный взгляд державы
Беспомощней; тем меньше славы,
Чем больше бабочек и ос.

Тем слово жарче и чудесней,
Чем тише произнесено.
Чем меньше стать мечтает песней,
Тем ближе к музыке оно;
Тем горячей, чем бесполезней.

Чем реже мрачно напоказ,
Тем безупречней, тем печальней,
Не поощряя громких фраз
О той давяльне, наковальне,
Где задыхалось столько раз.

Любовь трагична, жизнь страшна.
Тем ярче белый на зеленом.
Не знаю, в чем моя вина.
Тем крепче дружба с Аполлоном,
Чем безотрадней времена.

Тем больше места для души,
Чем меньше мыслей об удаче.
Пронзи меня, вооружи
Пчелиной радостью горячей!
Как крупный град в траве лежи.

Дорогой Александр! Здесь, откуда пишу тебе, нет
Ни сирен, — ах, сирены с безумными их голосами! —
Ни циклопов, — привет
От меня им, сидящим в своих кабинетах, с глазами
Всё в порядке у них, и над каждым — дежурный портрет.

Нет разбойников, нимф,
Это всё — на земле, как ни грустно, квартиры и гроты;
Что касается рифм,
То, как видишь, освоил я детские эти заботы
На чужом языке, вспоминая прилив и отлив.

Шелестенье волны,
Выносящей к ногам в крутобедрой бутылке записку
Из любимой страны...
Здесь, откуда пишу тебе, море к закатному диску
Льнет, но диск не заходит, томят незакатные сны.

Дорогой Александр,
Почему тебя выбрал, сейчас объясню; много ближе,
Скажешь, буйный ко мне Архилох, семиструнный Терпандр,
Но и пальме сосна снится в снежной красе своей рыжей,
А не дрок, олеандр.

А еще потому
Выбор пал на тебя, нелюдим, что, живя домоседом,
Огибал острова, чуть ли не в залетейскую тьму
Заходил, всё сказал, что хотел, не солгал никому, —
И остался неведом.

В благосклонной тени. Но когда ты умрешь, разберут
Всё, что сказано: так придвигают к глазам изумруд,
Огонек бриллианта.
Скольких чудищ обвел вокруг пальца, статей их, причуд
Не боясь: ты обманута, литературная банда!

Вы обмануты, стадом гуляющие женихи.
И предательский лотос
Не надкушен, с тобой — твоя родина, беды, грехи.
Человек умирает — зато выживают стихи.
Здравствуй, ласковый ум и мужская, упрямая кротость!
Помогал тебе Бог или смуглые боги, как мне,
Выходя, как из ниши, из ямы воздушной во сне,
Обнимала прохлада,
Навеяв любовь к заметенной снегами стране...
Обнимаю тебя. Одиссей. Отвечать мне не надо

В наших северных рощах, ты помнишь, и летом клубятся
Прошлогодние листья, трещат и шуршат под ногой,
И рогатые корни южанина и иностранца
Забавляют: не ждал он высокой преграды такой,
Как домашний порог, так же буднично стоптанный нами;
Вообще он не думал, что могут быть так хороши
Наши ели и мхи, вековые стволы с галунами
Голубого лишайника, юркие в дебрях ужи.

Мы не скажем ему, как вздыхаем по югу, по гляncy
Средиземной листвы, мы поддакивать станем ему:
Да, еловая тень... Мы южанину и иностранцу
Незабудочек нежных покажем в лесу бахромю,
Переспросим его: не забудет он их? Не забудет.
Никогда! ни за что! голубые такие... их нет
Там, где жизнь он проводит так грустно... Увидим: не шутит,
И вздохнем, и простимся... помашем рукою вослед.

«НА СУМРАЧНОЙ ЗВЕЗДЕ» (1994)

Если кто-то Италию любит,
Мы его понимаем, хотя
Сон полуденный мысль ее губит,
Солнце нежит и море голубит,
Впала в детство она без дождя.

Если Англию — тоже понятно.
И тем более — Францию, что ж,
Я впивался и сам в нее жадно,
Как пчела... Ах, на ней даже пятна,
Как на солнце: увидишь — поймешь.

Но Россию со всей ее кровью...
Я не знаю, как это назвать, —
Стыдно, страшно, — неужто любовью?
Эту рыхлую ямку кротовью,
Серой ивы бесцветную прядь.

Запиши на всякий случай
Телефонный номер Блока:
Шесть-двенадцать-два нуля.
Тьма ль подступит грозной тучей,
Сердцу ль станет одиноко,
Злой покажется земля.

Хорошо — и слава богу,
И хватает утешений
Дружеских и стиховых,
И стареем понемногу
Мы, ценители мгновений
Чудных, странных, никаких.

Пусть мелькают страны, лица,
Нас и Фет вполне устроить
Может, лиственная тень,
Но... кто знает, что случится?
Зря не будем беспокоить.
Так сказать, на черный день.

*Я список кораблей прочел до середины...
О. Мандельштам*

Мы останавливали с тобой
Каретоподобный кэб
И мчались по Лондону, хвост трубой,
Здравствуй, здравствуй, чужой вертеп!

И сорили такими словами, как
Оксфорд-стрит и Трафальгар-сквер,
Нашей юности, канувшей в снег и мрак,
Подавая плохой пример.

Твой английский слаб, мой французский плох.
За кого принимал шофер
Нас? Как если бы вырицкий чертополох
На домашний ступил ковер.

Или розовый сиверский иван-чай
Вброд лесной перешел ручей.
Но сверх счетчика фунт я давал на чай —
И шофер говорил: "О'кей!"
Потому что, наверное, сорок лет
Нам внушали средь наших бед,
Что бессмертия нет, утешенья нет,
А уж Англии, точно, нет.

Но сверкнули мне волны чужих морей,
И другой разговор пошел...
Не за то ли, что список я кораблей,
Мальчик, вслух до конца прочел?

ТРОЯ

Т. Венцлове

— Поверишь ли, вся Троя — с этот скверик, —
Сказал приятель, — с детский этот садик,
Поэтому когда Ахилл-истерик
Три раза обежал ее, затратил
Не так уж много сил он, догоняя
Обидчика... — Я маленькую Трою
Представил, как пылится, зарастая
Кустарничком, — и я притих, не скрою.

Поверишь ли, вся Троя — с этот дворик,
Вся Троя — с эту детскую площадку...
Не знаю, что сказал бы нам историк,
Но весело мне высказать догадку
О том, что всё великое скорее
Соизмеримо с сердцем, чем громадно, —
При Гекторе так было, Одиссее,
И нынче точно так же, вероятно.

В отчаянье или в беде, беде,
Кто б ни был ты, когда ты будешь в горе,
Знай: до тебя уже на сумрачной звезде
Я побывал, я стыл, я плакал в коридоре.

Чтоб не увидели, я отводил глаза.
Я признаюсь тебе в своих слезах, несчастный
Друг, кто бы ни был ты, чтоб знал ты: небеса
Уже испытаны на хриплый крик безгласный

Не отзываються. Но видишь давний след?
Не первый ты прошел во мраке над обрывом.
Тропа проложена. Что, легче стало, нет?
Вожусь с тобой, самолюбивым...

Названья хочешь знать несчастий? Утаю
Их; куст клубится толстокожий.
Как там, у Пушкина: "всё на главу мою... "
Что всё? Не спрашивай: у всех одно и то же.

О кто бы ни был ты, тебе уже не так
Мучительно и одиноко.
Пройдись по комнате иль на диван приляг.
Жизнь оправдается, нежна и синеока.

Разве можно после Пастернака
Написать о елке новогодней?
Можно, можно! — звезды мне из мрака
Говорят, — вот именно сегодня.

Он писал при Ироде: верблюды
Из картона, — клей и позолота, —
В тех стихах евангельское чудо
Превращали в комнатное что-то.

И волхвы, возможные напасти
Обманув, на валенки сапожки
Обменяв, как бы советской власти
Противостояли на порожке.

А сегодня елка — это елка,
И ее нам, маленькую, жалко.
Веточка, колючая, как челка,
Лезет в глаз, — шалунья ты, нахалка!

Нет ли Бога, есть ли Он, — узнаем,
Умерев, у Гоголя, у Канта,
У любого встречного, — за краем.
Нас устроят оба варианта.

КОНЬКОБЕЖЕЦ

Зимней ласточкой с визгом железным
Семимильной походкой стальной
Он проносится небом беззвездным,
Как сказал бы поэт ледяной,
Но растаял одический холод,
И летит конькобежец, воспет
Кое-как, на десятки расколот
Положений, углов и примет.

Геометрии в полном объеме
Им прочитанный курс для зевак
Не уложится в маленьком томе,
Как бы мы ни старались, — никак!
Посмотри: вылезают колени
И выбрасывается рука,
Как ненужная вещь на арене
Золотого, как небо, катка.

Реже, реже ступай, конькобежец...
Век прошел — и чужую строку,
Как перчатку, под шорох и скрежет
Поднимаю на скользком бегу:
Вызов брошен — и должен же кто-то
Постоять за бесславный конец:
Вся набрякла от снега и пота
И, смотри, тяжела, как свинец.

Что касается чоканья с твердой
Голубою поверхностью льда, —
Это слово в стихах о проворной
Смерти нас впечатлило, туда,
Между прочим, — и это открытье
Веселит, — из чужого стиха
Забежав с конькобежною прытью:
Все в родстве-воровстве, нет греха!

Не споткнись! Если что и задержит,
То неловкость — и сам виноват.
Реже, реже ступай, конькобежец,
Твой размашистый почерк крылат,
Рифмы острые искрами брызжут,
Приглядимся ж тебе и пойдем
То, что ласточки в воздухе пишут
Или ветви рисуют на нем.

Не расстаться с тобой мне, — пари же,
Вековые бодая снега.
И живи он в Москве, — не в Париже,
Жизнь тебе посвятил бы Дега,
Он своих балерин и лошадок
Променял бы, в тулупчик одет,
На стремительный этот припадок
Длинноногого бега от бед.

Там, где весна, весна, всегда весна, где склон
Покал, и ласков куст, и черных нет наветов,
Какую премию мне Аполлон
Присудит, вымышленный бог поэтов!

А ствол у тополя густой листвой оброс,
Весь, снизу доверху, — клубится, львиногривый.
За то, что ракурс свой я в этот мир принес
И не похожие ни на кого мотивы.

За то, что в век идей, гулявших по земле,
Как хищники во мраке,
Я скатерть белую прославил на столе
С узором призрачным, как водяные знаки.

Поэт для критиков что мальчик для битья.
Но не плясал под их я дудку.
За то, что этих строк в душе стесняюсь я,
И откажусь от них, и превращу их в шутку.

За то, что музыку, как воду в решето,
Я набирал для тех, кто так же на отшибе
Жил, за уступчивость и так, за низачто,
За je vous aime, ich liebe.

О. Чухонцеву

Мне приснилось, что все мы сидим за столом,
В полу блеск облачась, в полумрак,
И накрыт он в саду, и бутылки с вином,
И цветы, и прохлада в обнимку с теплом,
И читает стихи Пастернак.

С выраженьем, по-детски, старательней, чем
Это принято, чуть захмелев,
И смеемся, и так это нравится всем,
Только Лермонтов: "Чур, — говорит, — без поэм!
Без поэм и вступления в Леф!"

А туда, где сидит Председатель, взглянуть...
Но, свалившись на стол с лепестка,
Жук пускается в долгий по скатерти путь...
Кто-то встал, кто-то голову клонит на грудь,
Кто-то бедного ловит жука.

И так хочется мне посмотреть хоть разок
На того, кто... Но тень всякий раз
Заслоняет его или чей-то висок,
И последняя ласточка наискосок
Пронеслась, чуть не врезавшись в нас...

ПОСЛЕДНИЙ ПОЭТ

*Оно шумит перед скалой Левкада...
Е. Баратынский*

Что ни поэт - то последний. Потом
Вдруг выясняется, что предпоследний,
Что поднимается на волнолом
Вал, как бы прятавшийся за соседний,
С выгнутым гребнем и пенным хвостом.

Стой! Не бросайся с Левкадской скалы.
Взгляд удержи на какой-нибудь вещи:
Стулья есть гнутые, книги, столы,
Буря дохнет — и листочек трепещет,
Нашей ища на ветру похвалы.

Больше в присыпанной снегом стране
Нечего делать певцу с инструментом
Струнным. Сбылось, что приснилось во сне
Сумрачном: будем с партнером, с агентом
Курс обсуждать, говорить о зерне.

Я не гожусь для железных забот.
Он не годится. Мы все не подходим.
То-то ни с места наш парусный флот
В век, обнаруживший смысл в пароходе:
Крым за полдня, закипев, обогнет.

На конференции по мировой
Лирике, к Темзе припавшей и Тибру,
Я, вспоминая огни над Невой
Парные, сопротивлялся верлибру.
О, со скалы не бросайся, постой!

Кроме живой, что змеится, клубясь,
В бедном отечестве, стыд многолетний,
Есть еще очередь — прочная связь:
«Я», — говорю на вопрос: кто последний?
Друг, не печалься, за мной становясь.

«ТЫСЯЧЕЛИСТНИК» (1998)

«Я посетил тебя, пленительная сень...»

Е. Баратынский

Я посетил приют холодный твой вблизи
Могил товарищей твоих по русской музе,
Вне дат каких-либо, так просто, не в связи
Ни с чем, — задумчивый, ты не питал иллюзий
И не одобрил бы меня,
Сказать спешащего, что камень твой надгробный
Мне мнится мыслящим в холодном блеске дня,
Многоступенчатый, как ямб твой разноstopный.

Да, грузный, сумрачный, пирамидальный, да!

Из блоков финского гранита.

И что начертано на нем, не без труда
Прочел, — стихи твои, в них борется обида
И принуждение, они не для резца,
И здешней мерою их горечь не измерить:
«В смиренность сердца надо верить
И терпеливо ждать конца».

Пусть простодушие их первый смысл возьмет

Себе на память, мне-то внятен

Душесмутительный и двухголосый тот
Спор, двуединый, он, так скажем, деликатен,
И сам я столько раз ловил себя, томясь,
На раздвоении и верил, что Незримый
Представит доводы нам, грешным, устыдясь
Освенцима и Хиросимы.

Лети, листок
Понурый, тлением покрытый, пятипалый.
На скорбный памятник, сперва задев висок
Мой, — мысль тяжелая — и бедный жест усталый,
Жгут листья, вьющийся обходит белый дым
Тупые холмики, как бы за грядкой грядку.

И разве мы не говорим
С умершим, разве он не поправляет прядку?

И, примирение к себе примерив, я
Твержу, что твердости достанет мне и силы
Не в незакатные края,
А в мысль бессмертную вблизи твоей могилы
Поверить, — вот она, живет, растворена
В ручье кладбищенском, и дышит в каждой строчке,
И в толще дерева, и в сердце валуна,
И там, меж звездами, вне всякой оболочки.

Смерть и есть привилегия, если хотите знать.
Ею пользуется только дышащий и живущий.
Лучше камнем быть, камнем... быть камнем нельзя, лишь стать
Можно камнем: он твердый, себя не осознающий,
Как в саду этот Мечников в каменном сюртуке,
Простоквашей спасавшийся, — не помогла, как видно.
Нам оказана честь: мы умрем. О времен реке
Твердо сказано в старых стихах и чуть-чуть обидно.

Вот и вся метафизика. Словно речной песок,
Полустертые царства, поэты, цари, народы,
Лиры, скипетры... Камешек, меченый мой стишок!
У тебя нету шансов... Кусочек сухой породы,
Твердой (то-то чуждался последних вопросов я,
обходил стороной) растворится в веках, пожрется.
Не питая надежд, не унижившись до вранья...
Привилегия, да, и как всякая льгота, жжется.

САХАРНИЦА

Памяти Л. Я. Гинзбург

Как вещь живет без вас, скучает ли? Нисколько!
Среди иных людей, во времени ином,
Я видел, что она, как пушкинская Ольга,
Умершим не верна, родной забыла дом.

Иначе было б жаль ее невыносимо.
На ножках четырех подогнутых, с брюшком
Серебряным, — но нет, она и здесь ценима,
Не хочет ничего, не помнит ни о ком.

И украшает стол, и если разговоры
Не те, что были там, — попроще, победней, —
Все так же вензеля сверкают и узоры,
И как бы ангелок припаян сбоку к ней.

Я все-таки ее взял в руки на мгновенье,
Тяжелую, как сон. Вернул, и взгляд отвел.
А что бы я хотел? Чтоб выдала волненье?
Заплакала? Песок просыпала на стол?

ВЕНЕЦИЯ

Знаешь, лучшая в мире дорога -
Это, может быть, скользкая та,
Что к чертогу ведет от чертога,
Под которыми плещет вода
И торчат деревянные сваи,
И на привязи, черные, в ряд
Катафалкоподобные стаи
Так нарядно и праздно стоят.

Мы по ней, златокудрой, проплыли
Мимо скалоподобных руин,
В мавританском построенных стиле,
Но с подсказкою Альп, Апеннин,
И казалось, что эти ступени,
Бархатистый зеленый подбой
Наш мурановский сумрачный гений
Афродитой назвал гробовой.

Разрушайся! Тони! Увяданье —
Это правда. В веках холодей!
Этот путь тем и дорог, что зданья
Повторяют страданья людей,
А иначе бы разве пылали
Ипомеи с геранями так
В каждой нише, и каждом портале,
На балконах, приветствуя мрак?

И последнее. (Я сокращаю
восхищенье.) Проплывшим вдвоем
Этот путь, как прошедшим по краю
Жизни, жизнь предстает не огнем,
Залетевшим во тьму, но водою,
Ослепленной огнями, обид
Нет, — волненьем, счастливой бедою.
Все течет. И при этом горит.

Памяти И.Бродского

Я смотрел на поэта и думал: счастье,
Что он пишет стихи, а не правит Римом,
Потому что и то и другое властью
Называется, и под его нажимом
Мы б и года не прожили — всех бы в строфы
Заключил он железные, с анжамбманом
Жизни в сторону славы и катастрофы,
И, тиранам грозя, он и был тираном,
А уж мне б головы не сносить подавно
За лирический дар и любовь к предметам,
Безразличным успехам его державным
И согретым решительно-мягким светом.

А в стихах его власть, с ястребиным криком
И презреньем к двуногим, ревнуя к звездам,
Забиралась мне в сердце счастливым мигом,
Недоступным Калигулам или Грозным,
Ослепляла меня, поднимая выше
Облаков, до которых и сам охотник,
Я просил его все-таки: тише! тише!
Мою комнату, кресло и подлокотник
Отдавай, — и любил меня, и тиранил:
Мне-то нравятся ласточки с голубою
Тканью в ножницах, быстро стригущих дальний
Край небес. Целовал меня: Бог с тобою!

Как нравился Хемингуэй
На фоне ленинских идей, –
Другая жизнь и берег дальний...
И спились несколько друзей
Из подражания, что похвальней,
Чем спиться просто, без затей.

Высокорослые (кто мал,
Тот, видимо, не подражал
Хемингуэю, – только Кафке),
С утра – в любой полуподвал
По полстакана – для затравки –
И день дымился и сверкал!

Зато в их прозе дорогой
Был юмор; кто-нибудь другой
Напишет лучше, но скучнее.
Не соблазниться нам тоской!
О, праздник, что всегда с тобой,
Хемингуэя – Холидея...

Зато когда на свете том
Сойдетесь как-нибудь потом,
Когда все, все умрем, умрете,
Да не останусь за бортом, –
Меня, непьющего, возьмете
В свой круг, в свой рай, в свой гастроном.

М.Петрову

Когда страна из наших рук
Большая выскользнула вдруг
И разлетелась на куски,
Рыдал державинский басок
И проходил наискосок
Шрам через пушкинский висок
И вниз, вдоль тютчевской щеки.

Я понял, что произошло:
За весь обман ее и зло,
За слезы, капавшие в суп,
За всё, что мучило и жгло...
Но был же заячий тулуп,
Тулупчик, тайное тепло!

Но то была моя страна,
То был мой дом, то был мой сон,
Возлюбленная тишина,
Глагол времен, металла звон,
Святая ночь и небосклон,
И ты, в Элизиум вагон
Летающий в злые времена,
И в огороде бузина,
И дядька в Киеве, и он!

«...тише воды, ниже травы...»

А. Блок

Когда б я родился в Германии в том же году,
Когда я родился, в любой европейской стране:
Во Франции, в Австрии, в Польше, — давно бы в аду
Я газовом сгинул, сгорел бы, как щепка в огне,
Но мне повезло — я родился в России, такой,
Сякой, возмутительной, сладко не жившей ни дня
Бесстыдной, бесправной, замученной, полунагой,
Кромешной — и выжить был все-таки шанс у меня.

И я арифметики этой стесняюсь чуть-чуть,
Как выгоды всякой на фоне бесчисленных бед.
Плачь, сердце! Счастливый такой почему б не вернуть
С гербом и печатью районного загса билет
На вход в этот ужас? Но сказано: ниже травы
И тише воды. Средь безумного вихря планет!
И смотрит бесслезно, ответа не зная, увы,
Не самый любимый, но самый бесстрашный поэт.

Когда бы град Петров стоял на Черном море,
Когда бы царь в слезах прорвался на Босфор,
Мы б жили без тоски и холода во взоре,
По милости судьбы и к ней попав в фавор.

В каналах бы тогда плескались nereиды,
Не так, как эта тварь в снегу и синяках,
Не снились бы нам сны, не мучили обиды,
И был бы здравый смысл в героях и богах.

Когда бы град Петров с горы, как виноградник,
Шпалерами сбегал к уступчатым волнам,
Не идол бы взлетал над бездной, Медный Всадник
Не мчался б, приземлясь, по трупам, по телам.

Тогда б ни топора под мышкой, ни шинели,
Венеция б в веках подругой нам была,
Лазурные бы сны под веками пестрели,
Герakловы столпы, Икаровы крыла.

Я рай представляю себе, как подъезд к Судаку,
Когда виноградник сползает с горы на боку
И воткнуты сотни подпорок, куда ни взгляни,
Татарское кладбище напоминают они.

Лоза виноградная кажется каменной, так
Тверда, перекручена, кое-где сжата в кулак,
Распята и, крылья полураспахнув, как орел,
Вином обернувшись, взлетает с размаха на стол.

Не жалуйся, о, не мрачней, ни о чем не грусти!
Претензии жизнь принимает от двух до пяти,
Когда, разморенная послеобеденным сном,
Она вам внимает, мерцая морским ободком.

А. Штейнбергу

Греческую мифологию
Больше Библии люблю,
Детскость, дерзость, демагогию,
Верность морю, кораблю.

И стесняться многобожия
Ни к чему: что есть, то есть.
Лес дубовый у подножия
Приглашает в гору лезть.

Но и боги сходят запросто
Вниз по ласковой тропе,
Так что можно не карабкаться —
Сами спустятся к тебе.

О, какую ношу сладкую
Перенес через ручей!
Ветвь пробьется под лопаткою,
Плющ прижмется горячей.

И насколько ж ближе внятная
Страсть влюбленного стиха,
Чем идея неопрятная
Первородного греха.

Фету кто бы сказал, что он всем навязал
Это счастье, которое нам не по силам?
Фету кто бы сказал, что цветок его ал
Вызывающе, к прядкам приколотый милым?

Фету кто бы шепнул, что он всех обманул,
А завятых певцов, так сказать, переплюнул?
Посмотреть бы на письменный стол его, стул,
Прикоснуться бы пальцем к умолкнувшим струнам!

И когда на ветру молодые кусты
Оживут, заслоняя тенями тропинку,
Кто б пылинку смахнул у него с бороды,
С рукава его преданно сдунул соринку?

Всё знание о стихах — в руках пяти-шести,
Быть может, десяти людей на этом свете:
В ладонях берегут, несут его в горсти.
Вот мафия, и я в подпольном комитете
Как будто состою, а кто бы знал без нас,
Что Батюшков, уйдя под воду, вроде Байи,
Жемчужиной блестит, мерцает, как алмаз,
Живей, чем все льстецы, певцы и краснобаи.

И памятник, глядишь, поставят гордецу,
Ушедшему в себя угрюмцу и страдальцу,
Не зная ни строки, как с бабочки, пыльцу
Стереть с него грозя: прижаты палец к пальцу —
И пестрое крыло, зажатое меж них,
Трепещет, обнажив бесцветные прожилки.
Тверди, но про себя, его лазурный стих,
Не отмыкай ларцы, не раскрывай копилки.

Стихи — архаика. И скоро их не будет.
Смешно настаивать на том, что Архилох
Еще нас по утрам, как птичий хохот, будит,
Еще цепляется, как зверь-чертополох.

Прощай, речь мерная! Тебе на смену проза
Пришла, и Музы-то у опоздавшей нет,
И жар лирический трактуется как поза
На фоне пристальных журналов и газет.

Я пил с прозаиком. Пока мы с ним сидели,
Он мне рассказывал. Сюжет — особый склад
Мировоззрения, а стих живет без цели,
Летит, как ласточка, свободно, наугад.

И третье, видимо, нельзя тысячелетье
Представить с ямбами, зачем они ему?
Всё так. И мало ли, о чем могу жалеть я?
Жалей, не жалуйся, гори, сходя во тьму.

Содержание

ШЕСТИДЕСЯТЫЕ.....	5
«ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ» 1962	5
Когда я очень затоскую,	5
Два мальчика.....	6
Рисунок	7
Там, где на дне лежит улитка,.....	8
Графин.....	9
Ваза.....	10
«НОЧНОЙ ДОЗОР» 1966	11
Декабрьским утром черно-синим.....	11
О здание Главного штаба!.....	12
Старик	13
Гофман.....	14
Удивляясь галопу	15
Танцует тот, кто не танцует,	17
Но и в самом легком дне,	18
Два лепета, быть может бормотанья,	19
«ПРИМЕТЫ» 1969	20
То, что мы зовем душой,	20
Свежеет к вечеру Нева	21
Нет, не одно, а два лица,	23
Разговор.....	24
Когда тот польский педагог,.....	25

Два голоса.....	26
Жить в городе другом — как бы не жить.	28
Памяти Анны Ахматовой.....	29
Вижу, вижу спозаранку.....	31
Четко вижу двенадцатый век.....	32
Сирень.....	33
Еще чего, гитара!.....	34
На Мойке жил один старик.	35
Зачем Ван Гог вихреобразный	36
Буквы.....	37
СЕМИДЕСЯТЫЕ	38
«ПИСЬМО» (1974).....	38
Эти вечные счета, расчеты, долги	38
Кто-то плачет всю ночь.	40
Человек привыкает	41
Конверт какой-то странный, странный,.....	42
Ну прощай, прощай до завтра,	43
Я к ночным облакам за окном присмотрюсь,	44
О, слава, ты так же прошла за дождями,	45
Умереть, не побывав в Париже,.....	46
Вместо статьи о Вяземском	48
Пойдем же вдоль Мойки, вдоль Мойки... ..	49
«ПРЯМАЯ РЕЧЬ» (1975)	52
Быть нелюбимым! боже мой!.....	52
В кафе.....	53
Как люблю я полубред.....	55
В тот год я жил дурными новостями,	56
Та музыка, мотивчик тот,	57

«ГОЛОС» (1978)	58
Слово "нервный" сравнительно поздно	58
Времена не выбирают,.....	60
Заснешь и проснешься в слезах от печального сна.....	61
Сквозняки по утрам в занавесках и шторах	62
Придешь домой, шурша плащом,	63
Любил — и не помнил себя, пробудясь,	65
Куст.....	67
Какое чудо, если есть	68
Быть классиком — значит стоять на шкафу.....	69
Контрольные. Мрак за окном фиолетов,	70
Сложив крылья.....	71
Сентябрь выметает широкой метлой	73
Как клен и рябина растут у порога,.....	74
И пыльная дымка, и даль в ореоле	75
Наши поэты	76
Аполлон в снегу	77
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ	79
«ТАВРИЧЕСКИЙ САД(1984)	79
Небо ночное распахнуто настезь — и нам.....	79
Ночная бабочка.....	80
Нет лучшей участи, чем в Риме умереть.	81
Снег	82
Что мне весна? Возьми ее себе!	83
В одном из ужаснейших наших.....	84
На выбор смерть ему предложена была.	85
Сон.....	86
Как пуговичка, маленький обол.....	87

Когда шумит листва, тогда мне горя мало.	88
Подражание древним.....	89
Как буйно жизнь кипит на стенках саркофага!	90
И если спишь на чистой простыне,	91
Флейтист.....	92
Пчела.....	93
Эта тень так прекрасна сама по себе под кустом.....	94
Бог с овцой.....	95
Камни кидают мальчишки философу в сад.	96
Кавказской в следующей жизни быть пчелой,	97
Мне весело, что Бакст, Нижинский, Бенуа.....	98
В полуплаще, одна из аонид,	99
«ДНЕВНЫЕ СНЫ» (1986)	100
Горячая зима! Пахучая! Живая!.....	100
Наш северный модерн, наш серый, моложавый,	101
Кто едет в купе и глядит на метель,	102
Как мы в уме своем уверены,	103
Смысл жизни — в жизни, в ней самой.....	104
Микеланджело.....	105
Всё гудел этот шмель, всё висел у земли на краю,	106
Вот счастье — с тобой говорить, говорить, говорить	107
Как пахнет эвкалипт пицундский, придорожный,	108
Тарелку мыл под быстрою струей	109
Цезарь, Август, Тиберий, Калигула, Клавдий, Нерон... ..	110
Перевалив через Альпы, варварский городок	111
Перед статуей	112
Гудок паровой — вот бас; никакому певцу	113
За дачным столиком, за столиком дощатым,	114

В любительском стихотворенье огрехи страшней, чем грехи.....	115
«ЖИВАЯ ИЗГОРОДЬ» (1988)	116
Воспоминания	116
И в скверике под вязом.....	117
Скорей соринка, чем жучок. Полусоринка,.....	118
Надгробие. Пирующий этруск.....	119
Ты не права — тем хуже для меня.	120
На череп Моцарта, с газетной полосы	121
ДЕВЯНОСТЫЕ.....	122
«НОЧНАЯ МУЗЫКА» (1991).....	122
"Слава — это солнце мертвых ".	122
Как ночью берегом крутым	124
Сторожить молоко я поставлен тобой,.....	125
Водопад	126
Посмотри: в вечном трауре старые эти абхазки.....	127
Аполлон в траве	128
Дорогой Александр! Здесь, откуда пишу тебе, нет	129
В наших северных рощах, ты помнишь, и летом клубятся	131
«НА СУМРАЧНОЙ ЗВЕЗДЕ» (1994)	132
Если кто-то Италию любит,	132
Запиши на всякий случай.....	133
Мы останавливали с тобой.....	134
Троя	135
В отчаянье или в беде, беде,.....	136
Разве можно после Пастернака	137
Конькобежец.....	138
Там, где весна, весна, всегда весна, где склон.....	140
Мне приснилось, что все мы сидим за столом,.....	141

Последний поэт.....	142
«ТЫСЯЧЕЛИСТНИК» (1998).....	144
Я посетил приют холодный твой вблизи.....	144
Смерть и есть привилегия, если хотите знать.....	146
Сахарница.....	147
Венеция.....	148
Я смотрел на поэта и думал: счастье,.....	150
Как нравился Хемингуэй.....	151
Когда страна из наших рук	152
Когда б я родился в Германии в том же году,	153
Когда бы град Петров стоял на Черном море,.....	154
Я рай представляю себе, как подъезд к Судаку,.....	155
Греческую мифологию.....	156
Фету кто бы сказал, что он всем навязал	157
Всё знанье о стихах — в руках пяти-шести,.....	158
Стихи — архаика. И скоро их не будет.....	159

Стихотворения по алфавиту

Аполлон в снегу	77
Аполлон в траве	128
Бог с овцой	95
Буквы	37
"Быть классиком — значит стоять на шкафу..."	69
"Быть нелюбимым! боже мой..."	52
В кафе	53
"В любительском стихотвореньи огрехи страшней, чем грехи..."	115
"В наших северных рощах, ты помнишь, и летом клубятся..."	131
"В одном из ужаснейших наших..."	84
"В отчаянье или в беде, беде..."	136
"В полуплаще, одна из аонид..."	99
"В тот год я жил дурными новостями..."	56
Ваза	10
Венеция	148
"Вижу, вижу спозаранку..."	31
Вместо статьи о Вяземском	48
Водопад	126
Воспоминания	116
"Вот счастье — с тобой говорить, говорить, говорить..."	107
"Времена не выбирают..."	60
"Всё гудел этот шмель, всё висел у земли на краю..."	106
"Всё знанье о стихах — в руках пяти-шести..."	158
"Горячая зима! Пахучая! Живая..."	100
Гофман	14
Графин	9
"Греческую мифологию..."	156
"Гудок пароходный — вот бас; никакому певцу..."	113
Два голоса	26
"Два лепета, быть может бормотанья..."	19
Два мальчика	6
"Декабрьским утром черно-синим..."	11
"Дорогой Александр! Здесь, откуда пишу тебе, нет..."	129
"Если кто-то Италию любит..."	132
"Еще чего, гитара..."	34

"Жить в городе другом — как бы не жить..."	28
"За дачным столиком, за столиком дощатым..."	114
"Запиши на всякий случай..."	133
"Заснешь и проснешься в слезах от печального сна..."	61
"Зачем Ван Гог вихреобразный..."	36
И в скверике под вязом...	117
"И если спишь на чистой простыне..."	91
"И пыльная дымка, и даль в ореоле..."	75
"Кавказской в следующей жизни быть пчелой..."	97
"Как буйно жизнь кипит на стенках саркофага..."	90
"Как клен и рябина растут у порога..."	74
"Как люблю я полубред..."	55
"Как мы в уме своем уверены..."	103
"Как ночью берегом крутым..."	124
"Как нравился Хемингуэй..."	151
"Как пахнет эвкалипт пицундский, придорожный..."	108
"Как пуговичка, маленький обол..."	87
"Какое чудо, если есть..."	68
"Камни кидают мальчишки философу в сад..."	96
"Когда б я родился в Германии в том же году..."	153
"Когда бы град Петров стоял на Черном море..."	154
"Когда страна из наших рук..."	152
"Когда тот польский педагог..."	25
"Когда шумит листва, тогда мне горя мало."	88
"Когда я очень затоскую..."	5
"Конверт какой-то странный, странный..."	42
"Контрольные. Мрак за окном фиолетов..."	70
Конькобежец	138
"Кто едет в купе и глядит на метель..."	102
"Кто-то плачет всю ночь..."	40
Куст	67
"Любил — и не помнил себя, пробудясь..."	65
Микеланджело	105
"Мне весело, что Бакст, Нижинский, Бенуа..."	98
"Мне приснилось, что все мы сидим за столом..."	141
"Мы останавливали с тобой..."	134
"На выбор смерть ему предложена была..."	85

"На Мойке жил один старик..."	35
"На череп Моцарта, с газетной полосы..."	121
"Надгробие. Пирующий этруск..."	119
"Наш северный модерн, наш серый, моложавый..."	101
Наши поэты	76
"Небо ночное распахнуто настезь — и нам..."	79
"Нет лучшей участи, чем в Риме умереть..."	81
"Нет, не одно, а два лица..."	23
"Но и в самом легком дне..."	18
НОЧНАЯ БАБОЧКА	80
"Ну прощай, прощай до завтра..."	43
"О здание Главного штаба..."	12
"О, слава, ты так же прошла за дождями..."	45
ПАМЯТИ АННЫ АХМАТОВОЙ	29
"Перевалив через Альпы, варварский городок..."	111
ПЕРЕД СТАТУЕЙ	112
ПОДРАЖАНИЕ ДРЕВНИМ	89
ПОЙДЕМ ЖЕ ВДОЛЬ МОЙКИ, ВДОЛЬ МОЙКИ...	49
ПОСЛЕДНИЙ ПОЭТ	142
"Посмотри: в вечном трауре старые эти абхазки..."	127
"Придешь домой, шурша плащом..."	63
ПЧЕЛА	93
"Разве можно после Пастернака..."	137
РАЗГОВОР	24
РИСУНОК	7
САХАРНИЦА	147
"Свежеет к вечеру Нева..."	21
"Сентябрь выметает широкой метлой..."	73
СИРЕНЬ	33
"Сквозняки по утрам в занавесках и шторах..."	62
"Скорей соринка, чем жучок. Полусоринка..."	118
"Слава — это солнце мертвых ..."	122
"Слово "нервный" сравнительно поздно..."	58
СЛОЖИВ КРЫЛЬЯ	71
"Смерть и есть привилегия, если хотите знать..."	146
"Смысл жизни — в жизни, в ней самой..."	104
СНЕГ	82

СОН	86
СТАРИК	13
"Стихи — архаика. И скоро их не будет..."	159
"Сторожить молоко я поставлен тобой..."	125
"Та музыка, мотивчик тот..."	57
"Там, где весна, весна, всегда весна, где склон..."	140
"Там, где на дне лежит улитка..."	8
"Танцует тот, кто не танцует..."	17
"Тарелку мыл под быстрою струей..."	109
"То, что мы зовем душой..."	20
ТРОЯ	135
"Ты не права — тем хуже для меня..."	120
"Удивляясь галопу..."	15
"Умереть, не побывав в Париже,	46
"Фету кто бы сказал, что он всем навязал..."	157
ФЛЕЙТИСТ	92
"Цезарь, Август, Тиберий, Калигула, Клавдий, Нерон..."	110
"Человек привыкает..."	41
"Четко вижу двенадцатый век..."	32
"Что мне весна? Возьми ее себе..."	83
"Эта тень так прекрасна сама по себе под кустом..."	94
"Эти вечные счета, расчеты, долги..."	38
"Я к ночным облакам за окном присмотрюсь..."	44
"Я посетил уют холодный твой вблизи..."	144
"Я рай представляю себе, как подъезд к Судаку..."	155
"Я смотрел на поэта и думал: счастье..."	150

**Вы хотите получить 20 Ваших
книг в подарок?**

Издайте свою книгу у нас, и она будет
продаваться по всему миру!

Всего за **\$649*** Ваша мечта будет
исполнена нами.

ISBN номер и номер регистрации в
библиотеке Конгресса США будут
получены по вашему требованию.

Подробности по телефону:

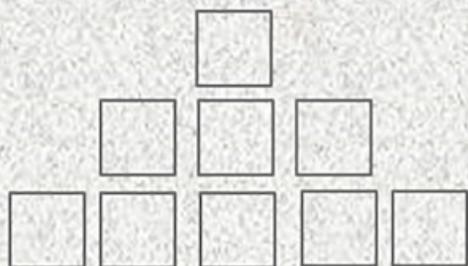
1-312-985-7638

Email: service.poezia.us@gmail.com

Мы вне конкуренции!

**Цена пакета временная! Обычная цена \$699.*

**POEZIA.US. 2495 Emerald In.,
Lindenhurst, IL 60089, USA**



СЕРИЯ «135 СТИХОТВОРЕНИЙ»